

18+

Мария
Голованивская

**КТО БОИТСЯ
СМОТРЕТЬ
НА МОРЕ**

Это история
торжествующей, удавшейся
НЕЛЮБВИ



Мария Голованивская

Кто боится смотреть на море

«АСТ»

2016

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Голованивская М. К.

Кто боится смотреть на море / М. К. Голованивская — «АСТ»,
2016

ISBN 978-5-17-097386-6

Мария Голованивская – писатель, переводчик, журналист. Автор книг «Противоречие по сути», «Московский роман», «Двадцать писем Господу Богу», «Пангея» (шорт-лист премий «НОС» и «Сделано в России»). «Кто боится смотреть на море» – один из самых беспощадных текстов, хотя, казалось бы, перед нами камерная, печальная история неудавшейся любви. Но на самом деле – это история торжествующей, удавшейся НЕЛЮБВИ. Героиня романа приезжает на старомодный европейский курорт за покоем и счастьем. Всю жизнь она воевала с самой жизнью. Жила по правилам, без прикрас, говорила правду в глаза, а оказалась в мире безмятежности, старых денег и красоты. Она рушит этот мир вокруг себя, потому что иначе не умеет, не получается. Она победила и она разбита...

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-097386-6

© Голованивская М. К., 2016
© АСТ, 2016

Содержание

Кто боится смотреть на море	5
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Мария Голованивская

Кто боится смотреть на море

Кто боится смотреть на море

Пакуясь, она вдруг вспомнила, как Соня юркнула к ней под одеяло, прижалась и прошептала куда-то в подмышку: «Майя, слышишь, у меня с первого раза получилось, а я боялась, что будет больно и кровь, и я не смогу, не смогу...»

Майя отстранилась.

Кошка лизучая эта Сонька.

– Значит, ты переспала?

От природы искривленный Майин рот левым краем ушел вниз глубже обычного, и лицо сделалось злым.

– А залететь не боишься?

Майя помнила, как Соня окаменела, казалось, даже волосы ее, разлетевшиеся по подушке, сжались и еще сильнее завились, как после, всхлипывая, глотая слезы, говорила, что поделилась с Майей как с сестрой, ведь та замужем и должна помочь, дать совет, что она любит, полюбила, совсем, совсем, не дышит почти от боли и смятения, когда видит его, и готова на всё, совсем на всё...

– Никакого «всё» нет, не бывает, – жестко отрезала Майя, – и нечего уши развешивать. Начиталась пошлятины, в кино насмотрелась? Охи и ахи, так давай, нет, так... Мужчине нужно одно, и он свое возьмет, как ты ни мяукай.

– Нарочно так говоришь, потому что не любишь никого, никто тебе не нужен.

– Зато тебе всякий нужен, – сдавленно шипела Майя, боясь разбудить отца за стенкой, – ты одна ни минуты быть не можешь, от этого и загуляла. По рукам пойдешь, я сказала, по рукам пойдешь.

Соня села на постели, смерила сестру взглядом. Майя помнит этот взгляд, острый и ранящий, как стеклянный осколок, что полоснул по ее некрасивому, уродливому даже, лицу: рот кривой от рождения, большие плоские уши, словно припорошенные мукой, жидкие волосы.

– Люди по-звериному должны, да? Без слов, без признаний.

– Не фантазируй, – смягчилась Майя, – извини, если я груба была.

– Не-е-ет, – Соню несло, – ты со своим Витечкой, наверное, по-собачьи сношаешься, ахе-ахе-ахе, да? Без лишних, без ненужных нежностей. Уродина ты! Нелюдь!

Майя размахнулась и со всей силы ударила ее.

Разбила нос.

Зачем она тогда приехала домой и осталась ночевать? Приглядеть за Сонькой? Кажется, отец занемог, слег с гриппом, кашлял, и она поехала наварить и прибраться.

Ну да, Соня была права, с мужем у Майи затей не было. Раз – и все, ему хорошо, а ей никак. Пять минут в сутки перетерпеть можно, да и не каждый день.

Майя остановилась, закурила, пошла на кухню, поставила чайник. Невозможно лезли в голову эти воспоминания, и щемило от них, сдирало прямо кожу.

И зачем теперь порожняк этот гонять? Пустой высер памяти. Нет Сони. Никогда больше не будет.

Попила чайку. Покурила. Собираться надо, ничего не забыть. А то забудешь, и метаться там, без языка?

Соня, ее младшая сестра, моложе на десять лет, умерла полгода назад в Париже на пятьдесят пятом году жизни, по официальному заключению – от внезапной остановки сердца, но

все знали: овер-доза, трагедия, досада и стыд. Ведь могла же Майя спасти ее, отвратить, настоять в сотый раз на клинике, ведь всю жизнь пыталась уговорить, накричать, но не выходило – срывалась в последний момент. Чтобы Соня начинала ее слушать, надо было врать, а врать Майя не умела, не хотела, а иначе разговор не шел.

Внезапно мысли ее шарахнулись в другую сторону: как же теперь обзавидуются эти Сонькины подружанки! Да и мои, которые судачили за спиной, что убогая я, что на мне природа отдохнула, только, мол, у Сони красота да талант. Вот теперь и упивайтесь красотой да талантом! Постарели все воспеватели, у кого рачок, у кого инфарктик, от кого муж к молодой ушел – а как жили-то красиво, как хвосты распушали! Она знала, знала, что настанет час и к ней прибегут за утешением, а она душой не будет, даст от ворот поворот. Мечтала об этом ночами долгие годы. Представляла себе заведующую их, Нельку, с которой бок о бок всю жизнь на работе просидела. У той и дочка красавица, и муж зарабатывает, и съездили они на море замечательно, и шуба вот новенькая, четвертая уже. «Прибегут плакаться», – твердила себе Майя. И вот пробил час: Сонечка оставила и денег, и квартиру на океане.

Сан-Себастьян! Говорят, роскошный город, богатый для богатых, бриллиантовый. Тишь, красота, никакой тебе жары, тротуары все белоснежные, и в кафешках тапасы подают – везде разные, нигде одинаковых не сыщешь. Испанцы веселые, не жадные, как немцы, горячие, с душой нараспашку, жить среди них – праздник. Ходят по улицам – поют, она видела по телевизору, наряжаются, фламенко женщины танцуют – кровь кипит, с такими рядом не замерзнешь. И Биарриц тут же, в часе езды, о котором только в книжках читала, – курорт, и будет она под зонтиком мороженое лизать и дремать в теплых лучиках, а остальные пускай локти теперь жрут себе. Всё. Хватит. Заслужила она.

Чемодан хрипел и не застегивался. Но брюхо его надутое, наглое коленкой надо, и никуда не денется. Майя пихала чемодан ногой и улыбалась своим мыслям, утирая пот с лица: молодец Соня, не обидела сестру. Ну, оставила она Жилу, последнему своему кучерявому любимчику, похожему на кузнечика, парижскую халупу и немного денег, так и не жалко, хоть и прохвост он порядочный. Двадцать семь лет, а сообразил, к кому чалиться. Промоутер из пригорода Марселя. Приехал с какой-то выставкой в Париж, а тут на тебе – сама Соня Потоцкая раздвинула ноги.

Майя победила молнию и наконец-то смогла выпрямиться – все, старое долой, поживу и я.

Разноцветные мушки прыгали перед глазами, давление, небось, под двести, когда паковалась-то в последний раз? Четыре года назад, ездила повидаться с Сонькой в Прагу, та была там проездом. Выставка, народищу! А Соня, как всегда, бледная, белая почти, с ледяными пальцами, теребящими сигарету, обычно по рассеянности не прикуренную. Поговорили плохо. Майя бесилась от ее лепетаний. «Жиль, Жиль, он такая чистая душа, такая нетронутая, но я так запуталась, совсем, совсем». Майя глядела на дрожащие синие пальцы, глядела на какие-то пятна на шее и взорвалась: «Не могу больше с тобой, плохо мне! Как гребла всякую шваль, так и гребешь! Ты на себя посмотри!» Ну что ж, право имеет, она старшая, пожилой уже человек. Пенсионерка. Они сидели за столиком, кафе было венское, с бархатными диванами, медными поручнями и круглыми матово-молочными абажурами на длинных ногах, все в розовом свете из-за обивки и цвета стен, с голливудской барной стойкой, жаркое, несмотря на зимний прохладный день. Она помнила официанта с брюшком, восковым носом и комичным мазком влажных волос от одного уха к другому. Жалко его, дед уже поди, а все заискивает; дала б ему чаевых побольше, если бы платила сама и не выскочила из-за стола с красным от гнева лицом. Когда бы знала, что это последний их с Соней разговор, то не стала бы так оскорблять. Ну младшая, ну беспутная, ну ветер в голове, но не девочки уже обе, да и сколько можно ее, дуру, отчитывать – всю жизнь отчитывает. Потому что любит. Очень любит.

Она все вспоминала потом их отражения в вычурных, словно стекающих по стенам, модерновых зеркалах кафе: она, Майя, – дылда, некультяпистая, пучеглазая, с руками-оглоблями, сутулая, квадратная, и Соня – тоненькая, миловидная, крашенная блондиночка, все время поправляющая невротическим жестом очки и кривящая правый угол рта, – тик, симметричный ее, Майиному, парезу. Сколько помнит Соню, всегда так кривила, обезьянничала, наверное, невольно. Что-то в ней было от Пиаф. Надрыв, худоба, наркотики. И как получилось, что они сестры? Ничего общего, ни в чем, никогда.

– Ты всю жизнь меня поучаешь, – тихо, виновато говорила Соня. – Напрасно, зря это.

– Я хочу как лучше, ты знаешь. Но Жиль сосет из тебя деньги, все имеют тебя, понимаешь ты это? А ты мне назло защищаешь, защищаешь... – почти что лаяла Майя.

– Мне так не лучше, – шептала Соня.

– Но ты же сдохнешь, дура, из тебя всё уже высосали. И что ты все время не говоришь, а шепчешь? Тьфу!

Соня умерла, миг, нереально, как в кино. Когда Жиль нашел ее, еще играла музыка – это Соня пришла домой и включила Нину Симон. Налила себе виски, закурила, села на диван, включила телевизор. Была расстроена из-за каталога: не тот формат, не та бумага, пошлость вышла, и она все время в тот вечер добавляла еще и еще.

А может, Майе и понравится в этом Себастьяне? Поест свежей рыбки, окунется потихонечку... Ведь если Соня так любила эту свою «дыру в сыре», где, как она говорила, за считанные часы нарастает новая кожа, значит, что-то там есть? Соня ездила туда одна, обычно одна, без ухажеров, она говорила, что океан заменяет ей все, что она там даже почти не курит. Ну а если не придется ей Себастьян, рассуждала про себя Майя, так продаст к чертям собачьим. Никому ведь теперь ничего не должна.

Кавардак, посреди которого она возвышалась, как Гулливер, показался ей веселым. Хочу и ворочу – вот что заставляло ее глаза улыбаться, а крашенные в шатен жидкие волосенки изображать подобие волны. Майя с наслаждением оглядывала пестрые шмоточки потроха, вываленные из шкафов, линялые ночнушки, наволочку с лекарствами, гречку, геркулес (говорят, там такого ни за какие деньги не купишь) – господи, еще и для этого надо сумку брать! Но в одну секунду настроение ее поменялось. Этот запах, – она понюхала свое вспотевшее запястье, – этот запах, какой-то он стал химический, нет? Понюхала потную ладонь. Нет, не химический, как будто пахнет огуречным рассолом или мочой, да-да, мочой, ссаниной! Ей все мерещилось в последнее время, что от нее стало пахнуть мочой, она исподтишка все проверяла себя, нет ли тому повода, не рухнула ли какая-то неучтенная капля мимо туалетной бумаги, – это и есть старость, тревожно заключала она; наверное, уже и маленький диабетик где-то завелся, надо провериться, взять себя в руки, некому же будет за ней ходить. Кто старую пожалеет? После Сонькиного ухода и совсем уж ни на кого надежды нет. Раньше она знала, Соня не бросит, какая-никакая, а сердобольности в ней хоть отбавляй. Деньги есть, знаменитость, а значит, определит ее, старшую свою, всю жизнь ей отдавшую вместо матери, в хороший госпиталь на Елисейских полях или где-то еще, где богатые лежат. Но нет Сони – и нет госпиталя, а только деньги и завистливые подруги. Она вспомнила подругу Нинку, как они все стриглись прямо в комнате после работы, – запирались и стригли друг друга, а зачем на парикмахерскую тратиться, да еще и в очереди сидеть, – так Нинка донесла заведующей, мол, беспорядок, тут не дом им, а работа, потом весь пол в волосах, и заведующая сняла у нее, у Майи, премию перед Новым годом, повод нашла – и сняла. На таких разве можно положиться? Деньги попросит на себя перевести и в хоспис сдаст.

Майя села на стул, закурила и заплакала почти в голос. Страшно. Бардак в комнате перестал забавлять ее. Все прежнее рухнуло, нет больше опоры. Прошиб пот, она потянулась за

новой сигаретой. «Утро стрелецкой казни»? – вспомнила Майя. Так она обычно говорила, входя в комнату сестры.

С годами, оторвавшись от неблагополучного дома, уехав с очередным пропитым ковбоем много старше себя сначала в США, а потом в Европу, сделавшись знаменитым фотографом, Соня придумала ответ: «Утро сестрецкой казни» – так и называла свою сначала комнату, а потом и квартиру, и дом, когда Майя, приезжавшая к ней, заставляла вечный «бедлам и караван-сарай».

Всякая дорога погружала Майю в анабиоз. Душно, жарко, нехорошо, курить нельзя, пот градом. Сначала она еще как-то пыталась отвлекать себя: тупо тарасилась на толпу – через секунду уже с осуждением: корчат из себя не пойми кого, вояжируют налегке, обжимаются перед стойкой регистрации, по телефону болтают на паспортном контроле, нет уважения в людях, нет понятий. Она заходила в магазинчики, где втридорога продавался всякий вздор, вертела бутылки в руках, изредка цеплялась к продавщицам: вы сами-то бы это купили, скажите мне?! Продавщицы делали чиз и отходили, интерес к окружающему стремительно гас, и в самолете она уже почти не помнила себя.

Людей битком, не выйти, не вырваться. А если приступ или поперхнешься – вот так и сдыхать в этом кресле? Женщина рядом с ней напомнила ей продавщицу сельпо из Валентиновки – много лет Майя ездила к подруге на дачу варенье варить, ходили в сельпо за сахаром. Отпускала товар Милка, сучка-бегемотиха, размалеванная, грудастая, халат на ней трещал по швам, а пуговица на груди была вырвана с мясом. Майя всякий раз думала, как охаживали ее, когда магазин закрывался, грузчики или шоферня, – разило от нее за версту и портвешком, и блудом всяким; и вот однажды у продавщицы этой, Милочки, день рождения случился, и какой же целый день в магазине стоял кобеляж, последний синяк нес ей цветки или конфеточки, ручку целовали, на коленку вставляли. Декламировали стихи, исполняли куплеты, и каждый норовил в губы лизнуть, сальненько лапануть: красавица ты наша. Та светила аж вся. Тошнота.

Майя отвернулась. Но соседка словно почуяла, потрогала ее за руку: «Вам плохо? Может, воды? Хотите, я позову стюардессу, у них аптечка на борту есть». Майя, не поворачиваясь, что-то прорычала в ответ. Давление бешеное, стучит в ушах, давит затылок. Попробовала уснуть. Думать о хорошем.

Вспомнила, как говорили в этой Валентиновке местные из окрестных деревень, пропи-тых уже насквозь, – так же, как и на их киевской окраине, где она родилась и выросла: громко и грубо, с особенными многозначительными недомолвками и паузами; это были даже не фразы, а почти что хрип и лай, мол, только свой поймет. Но в Себастьяне же должны быть моряки, плыла по своим мыслям Майя, а значит, и они будут говорить с наигранной показной грубостью, везде есть простые и грубые люди, которых она не боится совсем и с которыми всегда найдет общий язык. Да и наших там много, уже снилось Майе, сойдемся, свои своих всегда поймут. Проснулась, вспомнила, что перед отъездом звонила ей Сониная подруга, всегда она жалела Соню, говорила о ней доброе, плакала очень на похоронах. Лилечка. Лилечка позволила, сказала, что встретит ее Зухра, ираночка, убиравшаяся в квартире, что Соня относилась к ней с сердцем, что она по-русски хорошо, училась в Минске, встретит, довезет до дома, там сорок минут автобусом от Бильбао. Поможет, все покажет, первое время не оставит. Ну, пусть.

На Лилечку у Майи был зуб: не нравилось, видишь ли, той, что на Сониных похоронах Майя слишком большую власть забрала. Распорядилась, командовала всеми, хоть и половину не понимала. Силой всех рассадила, говорила без умолку тосты, замечания французам делала, звала их мусье. «Ты прям в триумфе, – не удержалась под конец заплаканная Лилечка, – тебе бы полком командовать». Майя без секундного колебания оборвала ее: «Аты думала, как будет?» Сама думала всегда, глядя на этих профурсеток, одно и то же: «Боже ж ты мой! Что о себе

возомнили! Такие творческие они, ой-ой-ой. Да передком всю дорогу шли, вот и весь ваш талант. Погубили Соню, споили, скололи, под мужиков клали. Связи вам нужны, выставки нужны, заказы на съемки нужны, но погибла же она не от болезни, не от несчастного случая, а от проклятых ваших турунд, задохнулась, захлебнулась рвотой. Кто за это отвечает? Вы! Вы, суки!»

Майя опять заплакала. Отвернулась ото всех, уткнулась носом в иллюминатор, который показался ей потным и отвратительным, как чужая подмышка. Сонечка, Сонечка, миленькая моя, родная моя кровиночка. Смотреть в окно было невозможно – слепило солнце, и на небе ни облачка, – и она закрыла глаза и плакала так, пока ненавистная соседка не тронула ее за рукав и не протянула ей стакан газировки, пролепетав что-то совсем неразборчивое. Майя машинально взяла его и пробурчала в ответ «данке», чтобы той больше и в голову не пришло лезть к ней с разговорами.

Немецкий язык она учила в школе.

Дурновкусие. Вот что бросилось в глаза в Бильбао даже после мучительного перелета с пересадкой, несмотря на отекавшие ноги, руки, кровавые корки в носу и чесночную отрыжку после съеденной во Франкфурте сосиски. Пространство тамошнего аэропорта, наполненное воздухом и светом, запахом кофе и сдобы, стеклянный купол на тонких, как у паука, алюминиевых ножках, курительная комната, где она, отвернувшись от всех, жадно высадила три сигареты, пряча от господина в шелковом галстуке, сосавшего сигару, свои трясущиеся руки, – все это заставило ее спину выпрямиться, и она твердо сказала себе: «У меня есть деньги, я больше не бедная родственница, я хочу поесть, хочу и буду, здесь и сейчас». После рыданий она всегда отчаянно хотела есть. Выбрала еду, специально не глядя на ценники. Может себе позволить. Соня особенно не баловала ее деньгами, но после похорон парижский юрист – безусловно, гей, с ледяным взглядом и неестественно блестящей яйцеподобной лысиной, – сказал, что Соня в завещании указала только ее и Жиля. С последним мужем Соня развелась уже пять лет назад и со скандалом, многочисленные сожители прав заявить не сумеют, а это означает, что в скором времени Майя получит... – и назвал сумму. Она не поверила, гладкое лицо мсье поплыло у нее перед глазами, и только теперь, во Франкфурте, она почувствовала, что может тратить, станет тратить, если сможет заставить себя, потому что всю жизнь прожила на копеечную зарплату кадровички в Московском институте радиотехники и автоматики. Жить разумно, рачительно она умела безукоризненно, образцово, без скопидомства и мелочного счета, подарки делала всегда щедрые и даже пышные, но на себя тратить с размахом – это нет, не нажила привычки.

Села за столик, как и все. Ела не спеша, как всегда. Открыто разглядывала людей – так, как будто бы сосиска, сэндвич, салат и какао дали ей право усесться в партере. Индус с женой, кус-кус в тарелках; он был в дхоти и желтом кафтане, она в дхоти, розовой жакетке и шали. Все эти слова Майя знала твердо и элементы одежды опознала без труда – книжки по истории народов мира были ее самыми любимыми, читала она и журналы – «Вокруг света» от корки до корки много лет, – поэтому знала все особенности индийского платья. На этот раз она удовлетворяла свой интерес без стеснения, хотя обычно подглядывала за людьми исподтишка. В общественном ли транспорте или в коридоре института, она подмечала малейшие детали; впрочем, этому учили и на курсах кадровых работников, которые Майя окончила с отличием. Но там, конечно, не учили ее фантазировать, раздевать догола, размышлять о самом непристойном. Она часто представляла себе людей спаривающимися, пыталась по выражению лиц определить, было ли *это* прошлой ночью или, может быть, даже утром. Она словно пыталась подловить их, схватить на потаенном, это же так интересно, что сейчас переваривает желудок вот этого замшелого толстяка или как выглядят ногти у него на ногах. Все это она представляла себе в мельчайших подробностях, до последней капельки пота, влаги, до пищевого волокна

или завитка лобкового волоса. В какой же позе эти двое перламутрово-розовые предпочитают делать *это*? По камасутре?

А хваленые франкфуртские сосиски подвели. Она рыгала всю дорогу из Франкфурта в Бильбао, сначала стеснительно прикрываясь рукой, но потом, решив, что ничего, потерпят, не баре, отчаянно рыгнула. Как только увидела Зухру, сразу же отметила: дурновкусие, блестки, одета по-европейски, а все равно природа топорщится и бьет в нос. Зухра, увидев ее, просияла улыбкой, карие глаза наполнились радостью, вся основательная фигура ее вдруг сделалась легкой и подвижной. «Как я рада, что вы приехали, Майя, вы даже себе не представляете!» Майя заставила себя обнять ее. Как же плохо та пахнет, как все иранцы, наверное. Тяжелые, плотные духи, восточный аромат, запах старого барахла. Зухра была молода, с правильными, даже красивыми чертами лица, она жила здесь уже двадцать лет, но для Майи была чужой. Майя принципиально ненавидела чужих – евреев, мусульман, косоглазых, черных. Все они были для нее подозрительны, таили опасность и подлежали брезгливому искоренению. Как черный и толстый волос на подбородке – откуда он, это что, мужик во мне просыпается? «Буду с ней пока что радушной, – решила Майя, – она же нужна мне. Выведаю все и с треском прогоню».

– Пойдемте на автобус, – предложила Зухра и поволокла Майин каменный чемодан.

По дороге Зухра со слезами на глазах говорила о Соне, неостановимо, слова текли рекой, ошибки, которые она все время делала, придавали ее речи комизм, и сначала Майя не без любопытства слушала: «Софья была большое сердце, живописная душа, она страдала от горе, любви мучала ее, рано умерла, мы много пили у нее кофе, она так внимательно спрашивала про мой дом и родина». Но страшно мучившее Майю вздутие живота, пугающие ночные очертания гор, острые бока которых то и дело возникали за стеклом, россыпи мелких огней, зловеще мерцающих в долинах, быстро превратили интерес в раздражение: ну вот, еще одна ода сестре, еще одна из тех, кто наверняка, лстя и принижая себя нарочно, тряс и выдаивал из нее и деньги, и душевное тепло. «Я даже позировала ей на фото. Я такая красивая на этих фото, никогда такой не была!» – «Голой позировала?» – уточнила Майя. Зухра зарделась: «Нет, что вы. Но Софья научила меня идти в океан, я сначала не могла, боялась, нельзя нам раздеваться при чужих, но она уговорила, и я поплыла, сама не знаю как».

Соня устроила ей и других клиентов для уборки, давала ей рекомендации, и Зухру пустили в хорошие дома, потом ее даже пригласили няней – это работа более престижная и высокооплачиваемая, на эти деньги она смогла выучить дочь в Каире, там хороший университет. «Меня тоже бил муж, – сказала она шепотом, когда они уже подъезжали, – насилывал, и Софья понимала это, она знала боль».

«Раз была при Соньке, значит, ты такая же, как и она, прошмандовка», – заключила Майя.

Они вышли из автобуса, Зухра опять ухватилась за чемодан и заковыляла по тротуару к остановке такси. «Да никогда я не поверю, что ты не трясла тут своими красотами», – завершила свою мысль Майя.

Набережная и дом, куда они подъехали, поразили ее своим великолепием: не дома, а дворцы, фонари – как невесты, обряженные в белое. Несмотря на поздний час, люди на улицах пили вино и хохотали, у ног их крутились холеные собаки, дети в красных и зеленых жилетках ели мороженое и пускали в небо мыльные пузыри. «Цирк прямо, – подумала Майя со сдержанным воодушевлением. – Посмотрим на это при дневном свете повнимательней, авось рассеется». Она вошла в подъезд и чуть не охнула в голос: мраморный холл, скульптуры, цветы, невероятные люстры, тихая музыка. У входа ее приветствовал портье – испанец в кожаной жилетке, белой сорочке, с аккуратной бородкой клинышком. «Ну чистый Дон Кихот», – отметила Майя. Он радостно поздоровался и взялся за ее неподъемный чемодан. Далеко ему нести не пришлось: для багажа был отдельный лифт, сама же она ехала в старинном, с коваными решетками асенсоре, где пахло дорогими духами и повсюду были зеркала.

– Я устала, – сказала Майя перед тем, как войти в квартиру, и это было правдой. – Спасибо, Зухра, что позаботились о моем приезде.

– Завтра позвоню, я ведь знаю номер, покажу все, помощь всякая, могу убраться бесплатно, в память о Софье! – прозвенел голос Зухры на прощание. – Я для вас все что угодно!

– А откуда ты так знаешь язык? – вместо «спасибо» спросила Майя, уже повернувшись спиной. – Лиля что-то говорила, но я позабыла.

– Я же училась в СССР, в Минске, по обмену, на химика, – с готовностью начала свой рассказ Зухра, но Майя жестом остановила ее. Очень хотелось курить.

Конечно, когда Соня уезжала из этой квартиры, умирать она не собиралась. В одной из комнат на сушилке висел комплект белья и пара кухонных полотенец, все это задубело – сохло больше года. Майя присмотрелась: белье самое простое, копеечное, без кружева и цветов, как Соня любила, – значит, в последний раз Соня была здесь одна. На круглом столике у окна под тяжелой лампой с пыльным лиловым абажуром – старые, видимо, неоплаченные счета. Майя зажгла везде свет, закурила, хотя воздух в квартире стоял мертвый, затхлый, густой от длительно царившего тут мрака, и дышать им, не то что курить, казалось невыносимо. Она промучилась битых двадцать минут с ручкой жалюзи, но в конце концов сообразила, что надо крутить, подняла их, раскрыла все окна настежь. Услышала гул океана, выглянула – он лежал недалеко, черный, в отражениях огромных белых вычурных фонарей. С улицы слышались голоса возвращавшихся из кафе; справа, совсем рядом, – набережная и океан, вокруг – дома с верандами, большими окнами и причудливыми скульптурами на фасаде. Ну-ну. Новые виды.

Она прошла по квартире. По Сониным меркам – просто монашеская келья. Пустота. Два кресла, диван, несколько полок с альбомами, пара торшеров, на кухне икеевская посуда – всего пара комплектов, три тяжелые керамические кружки. Спальня напоминала скорее больничную палату: полуторная кровать с белым покрывалом, ночная тумбочка, лампа, совершенно голые белые стены. И все в таком духе. Три комнаты пустоты. Открыла шкафы. Простое тряпье, туфли на каблуках одни-единственные и всего одно приличное платье, а в остальном – джинсы, свитера, футболки. Невероятно.

И это ее самое любимое место в мире?

Майя, докуривая четвертую сигарету и с трудом переставляя набрякшие ноги из комнаты в комнату, отчетливо вспомнила Сонину парижскую квартирку на бульваре Пор-Рояль: прожженный ковролин, старинная мебель – шелк, красное дерево, мрамор, – и все это убитое, грязное, истерзанное, – картины, тяжелые шторы, тяжелый дух. Занюханый лоск, пыльная роскошь. Но хотя бы есть здесь на кухне запасы сахара? Соне часто вдруг хотелось сахару, и ничто не годилось ей – ни пирожное, ни цукат. Ей нужна была в рот ложка сахара, с самого детства, только это, и всегда у нее были запасы мелкого, как мука, белоснежного сахарного песка. Майя пошла на кухню, дернула одну дверцу, другую... Да, хоть это: на одной из полок стояло с десятков пакетов. Все правильно, она приехала туда.

В двенадцать голос-колокольчик Зухры спросил в телефонной трубке, не хочет ли Майя выйти за покупками, она покажет ей окрестности, рынок, магазины, набережную и аптеку. И еще: передал ли ей портфель булочки к завтраку, пачку чая и молоко, Зухра просила его это сделать.

– Спасибо, – ответила Майя на все разом, – да, заходи, пойдем.

Спала она ужасно. Решила прилечь на диване в гостиной, но не могла решить с окном – то закрывала его, то открывала, все время хотелось курить, сказывалось воздержание во время перелета, возвращался не пойми откуда запах мочи, и она дважды мылась в неудобной душевой, все норовила упасть, поскользнуться, разбиться вдребезги о чужой белоснежный кафель. Все валялось из рук. Пузырьки визгливо падали на пол, скакали как горошины, закатывались

в недостижимые углы или разбивались. Полотенца пахли. Под утро на нее нашли тягучие, мутные воспоминания детства, как через несколько лет после смерти Майиной матери, еще до рождения Сони, они переехали из Киева в Москву, на улицу Юннатов, где была ветлечебница-живодерня. По ночам и ранним утром там расправлялись со зверьем, и все окрестные жители томились от истошного воя и невыносимо жалостных криков. Она помнила санитаров с помидорными рожами, что тащили из грузовиков дохлых псов и котов, волоча их целыми букетами за лапы и хвосты. Она вспомнила Соню в гробу – белую, деревянную, с инеем на лбу и припекшимся к щеке куском губной помады. Потом ей пригрезился поезд, вагон, купе, на котором они ехали с хорохорившимся отцом и раздурившейся мачехой в Москву. Отец женился на Алене, актрисе самодеятельного театра с «Авиамоторной», потому что совсем оголодал без ласки; он был фантазер, балагур, а слушателя не было, о чем поговоришь с напуганной дочкой, криворотой и худющей, как цыпленок? Познакомились они, как он сказал, в театре, где он строил декорации, втрескался по уши, рыдал как мальчишка от ссор и сказал перед переездом Майе: не суди, матери уже давно нет, мне тяжело одному. В купе отец с Аленой напились, неприятно обнимались в коридоре, курили и хихикали, а она ворочалась на нижней полке, как будто во сне, чтобы дядька с верхней полки, улегшийся в брюках и носках, даже и не думал с ней заговаривать. Ей было шесть. Она помнила, как умерла ее мать. Хотя как она могла это помнить? Ей ведь и двух не было. Но помнила. Проглотила таблетку пенициллина – болела воспалением легких, почернела вся, захрипела. Аллергический шок. Первое непонятное и умное выражение, которое Майя выучила в своей жизни.

Соня, похожая на пузырь, родилась через три с половиной года после переезда, когда на свете не было уже ничего ужаснее этой самой бабищи, разнузданной и наглой. Дом в грязи и бедламe, гости круглые сутки, тут же пьют, тут же спят. Богема, ни шиша в кармане, займи да налей, вечно шарились по Москве в поисках приработка, роли в массовке или принеси-подай. «Немытые людишки» – так Майя называла их про себя. Торчала в школе допоздна, все уроки делала по два раза, оттого и была отличницей. Но в институт не пошла – чтобы подальше быть от балагуров, да и Соню нужно было поднимать. Алены этой через пять лет после Сониного рождения и след простыл, встретила бы – не узнала бы на улице.

Портье по имени Хосе – Майе сделалось неприятно, когда она услышала его имя, – действительно принес ей все, что сказала Зухра, и поставил к двери, но Майя об этом не знала – сварила себе старые макароны и заварила мятного чая: нашла в шкафу несколько завалывшихся пакетиков. Теперь она распахнула дверь, с удовольствием развернула ароматные булки, заварила свежий чай. «Ну, посмотрим, что будет, – подытожила она прошедшую адскую ночь и утро, – может быть, еще все наладится. Хотя булки-то красивые, а внутри пустота».

...Майя была пенсионеркой складной и ладной, и поэтому никогда не выходила за продуктами без тележки на двух колесиках, купленной у метро «Калужская» по случаю лет десять назад. Она привезла ее с собой и сюда. Непонятно, есть ли такие в Испании, а эта тележка – главный транспорт, пускай глядят как хотят, если им не по вкусу. Но тут многие были с тележками, ни к чему был ее гонор. Проходя под скрип колесиков по толстому бежевому ковровину через просторный мраморный холл, в своих светлых носочках, надетых под сандалии, и косынке, завязанной по-простому под подбородком, она заметила на себе любопытный взгляд Хосе, но ничуть не смутилась, а только выпрямила спину, показав ему свой почти гренадерский рост. Неуклюже выставляя ступни вперед, она довольно проворно спустилась по ступеням вниз, волоча за собой тележку, и вышла на набережную, под слепящий свет солнца и ревущий с океана ветер, уверенным шагом. Еще чего – думать, как посмотрят!

...Они шли по улице мимо церкви. Буро-кремовой, старинной. «Двенадцатый век, – с гордостью сказала Зухра, – но написано – четырнадцатый». – «Да какой это четырнадцатый век, – почти вспылила Майя, – девятнадцатый! Видно же, что новодел! Вечно все старины

хотят, а нет ее, старины этой, мало, а сказок много». Зухра смутилась: «Ой, да я говорю, что другие говорят! Они говорят – памятник и ценность».

К встрече с Зухрой она подготовилась: никакой власти над собой не давать, никакого покровительства. Ну, знает та тут три магазина, но она же поломойка, а Майя не Соня, чтобы с каждым вась-вась. Зухра пока нужна, без нее в аптеке не объясниться, к врачу не сходить, будем, будем недельку-другую дружить с ней, но дистанцию та чувствовать должна.

Они шагали не спеша. Зухра, увидев, что Майя смягчилась, трещала без умолку, тыкая пальцем то в одну лавку, то в другую: «Вот тут рыба! Самый дешевый! А овощи лучше не тут брать, а вон в той лавке – дешевле». – «Ну, я не копейки сюда считать приехала», – опять одернула ее Майя.

– ...Это наш рынок, старинный, видите, написано под крышей: «Пескадерия»!

– Господи, какая же тут красота! – почти что искренне воскликнула Майя. – И площадь старинная, и рынок, и люди такие молодые все и радостные, и небо, и погода!

– Даже не говорите! – и лицо Зухры просияло. – Тут так хорошо! Я вот ну кто, ну что, убираюсь, полы чищу, – но я дышу этим воздухом, ем хорошие, неотравленные продукты, хожу по этим улицам вместе со всеми, я живу как человек, я радуюсь. А в этих ужасных странах такая плохая жизнь. И в России, наверное, тоже.

«Ах ты сучка, – подумала Майя, – куда нацелилась!» – но сказала другое:

– Вот и я смотрю, хорошее тут место, надо оседать. Показывай мне все и не тараторь как сорока!

Они спустились по эскалатору вниз, в подбрюшье рынка, и восхищенно принялись обсуждать плоских, круглых, длинных, огромных красных и серебристых рыб, нагло пялившихся с ледяных гор, бараньи окорока и желтых, словно резиновых, кур и цыплят, лоснящиеся авокадо, воняющие гнилью и плесенью сыры, армии хамонных ног, отдающих то рубином, то фиолетом, то коралловым.

– Ну, сейчас покупать не будем, – сказала Майя, – а то что потом с тяжестью такой таскаться! Покажи мне еще соседние улицы, и на обратном пути все и купим.

– Здесь не человек решает, – мягко, но строго сказала Зухра. – Через сорок минут все закроется, и до пяти, – сиеста, поэтому или сейчас, или уже вечером.

Майя кашлянула. Под коронкой ныло, нужно было купить полоскание. Но что же таскаться с пустой сумкой по улицам, чтобы потом ничего не купить и прийти домой с пустыми руками? И что это она мне диктует, когда покупать?

– Давай сделаем так, – раздумчиво предложила Майя, подавив раздражение. – Ты пойдешь в аптеку мне за полосканием, а я тут пока что все куплю. Возвращайся, как купишь, сюда.

– Но как же вы без меня все купите?

Майя только махнула на нее рукой и зашагала к продавцам, а Зухра еще постояла: может, она что неправильно поняла? «Ну и характер, – робко подумала Зухра, отправляясь в аптеку, – совсем не как у Софьи – мужской какой-то, грубый».

Они брели, увешанные пакетами, с набитой сумкой на колесиках, по узкой улочке старого города, ведущей от церкви Сан-Винсент к дому, и мирно беседовали. Зухра расспрашивала о Соне, Майя отвечала. Она рассказала ей, без подробностей конечно, что Сониная мать была поблядушкой, бросила отца, что Соня много болела и что она, Майя, была ей как мать всю жизнь. «Талантливая и ранимая, – говорила Майя, – вот скажет слово, и оно у нее не такое, как у всех. От боли она умерла, от мужиков этих, не слушала, не хотела ничего знать, вот и все». Зухра говорила, что никогда не видела здесь Сониных мужчин, ну, может быть, раз или два. Приезжал один совсем молодой, марокканец, красивое лицо, ясное, побыл дня три-четыре, и Соня тогда вся светилась от счастья. Потом он уехал, и она запила. Сделала невероятные фотографии, их потом купила огромная компания, самая известная, для рекламы мужского

белья. «То есть взяли Софьиных мучшин и свои трусы нацепили компьютерно, – добавила Зухра. – Даже тут реклама висела».

Потом приезжал англичанин, в годах уже. Останавливался в «Лондрес», у главного пляжа Ла-Конча, они гуляли рука об руку, Соня в кремовой шали, он подарил, теперь у нее, у Зухры, эта шаль, Соня передарила, он всегда в галстук, сорочке, прямо господин. Зухра несколько раз встречала их задумчивых, сосредоточенных, но не грозových. «Да знаю я его, – отрезала Майя, – Чарльзик, тот еще подонок. Мало того что женат, так еще и деньги из нее тянул».

Вернувшись домой и разложив покупки по местам: рыбу в холодильник, хлеб в шкафчик, полоскание в ванную, новый халатик на плечики, – Майя, наскоро выкурив всего одну сигарету, рухнула на диван и сладко проспала до самого вечера.

Но как же теперь уснуть? Выдыхлась, как коза! Десна вроде утихла, морская щука, длинная и толстая, как рука, истомлена в духовке в фольге и съедена, желудок успокоился, давление в норме. Открыла окна, послушала шум океана, шум голосов, поднимающийся от кафе на углу. Зарядил вдруг дождик, и поднялся ветер, дернул мусорный бак на углу, опрокинул, но тут же стих, и дождик тоже вскоре стих.

На улицу, как и накануне, высыпали люди с собаками и детьми, и Майя вспомнила, как Соня отчаянно пыталась забеременеть, она была просто одержима этой идеей, хотя куда ей с ее характером и образом жизни. Но выкидыш, выкидыш, выкидыш, больница, ЭКО, каждый новый мужчина – надежда, что вот с ним получится. И впустую. «Тебе Бог не дает, и правильно делает, – часто говорила ей Майя. – Ну что ты будешь делать с ребенком? Да за тобой самой ходить надо!» Не получились дети и у Майи, не беременела она, с Виктором прожили семь лет – и ни разу. Выгнала она его в одночасье, нашла однажды вечером в мужнином кармане слезное письмо от какой-то Ларисы, как та ждет его и скучает, и вышвырнула вон. Не от ревности даже, а для порядка. Она выходила за него как за порядочного и надежного – простой человек из обыкновенной семьи, познакомились еще на курсах, но он пошел по производству, не по кадрам, завхозом был, потом на поставках работал на заводике, который производил пластиковые изделия. Жизнь как жизнь, без глупостей и фантазий. Ели не бедно, покупали себе тоссе. По выходным ездили на Ленгоры гулять или на ВДНХ. Елку даже наряжали, друзья у него были нормальные, все больше автомобилями занимались. Чего не жилось-то! Но если он по бабам пошел, так чего уютиться с ним? Либо жить, либо не жить, а раз он хоть раз сгульнул, так, значит, уже и не жить. Поплакала ночь, и баста: одинокой быть плохо, а одной и не так уж.

Сонины фотографии детей, за которыми она перлась то в Африку, то в Афганистан, то в Бразилию, то в Китай, то к эскимосам, собрали тучищу премий, но она всегда грустно, с пьяными слезами принимала их, начиная свою речь неизменно так: «У меня, увы, детей нет». И зал на этих словах затихал. Зритель задерживал дыхание, глядя на ее снимки и зная, что она бездетна, это было ее публичное горе, это было ее вынесенное в мир страдание, глупое и неуместное, – не всем нужны дети, не каждому они положены, а только твердо стоящим на ногах – таким, как она, как она, Майя, обделенная и вправду несправедливо. Но у нее зрителя не было, да и у по преимуществу бездетных подруг тоже, они пили чай да смотрели телевизор, не ожидая после сорока уже ничего – ни мужской ласки, ни душевного восторга, ни бабушкиных хлопот. Но с ней, с Майей, таки случилось – это солнце и этот океан. Надо завтра все-таки подойти и посмотреть на него повнимательней, это же, наверное, подарок судьбы.

Океан. Сначала она решила отнестись к нему свысока: ну лужа и лужа. Неужели охать перед ним и всплескивать ладонями, как это наверняка делала Соня. Той-то много было не надо, от всего восторг, все сногшибательно. Да и видела она море – от работы их отправляли иногда в Сочи в несезон, в пластиковый, с виду облезлый санаторишко с облупленными ванными и жидким супом, и Майя была уверена: вода – она и есть вода, что океан, что море.

Мокрое. Несколько раз она ездила с сестрой в Италию на Тирренское море, но они каждый раз так ссорились, что Майя не заметила ни пасты, ни пиний, ни изумрудной волны. Все происходило как по нотам: сначала бескрайняя сестринская любовь, Соня тащит ее в магазины и покупает все, на чем задерживается Майин глаз, потом Майя не выдерживает, делает ей замечание, Соня парирует, и дальше снежный ком: «мотовка, цены деньгам не знаешь, да я за эту кофточку месяц работать должна», – а Соня в слезы, а потом крик и угрозы, что убьет себя, что сил нет жить среди черствых и бескрылых уродов, которых ничем не проймешь. В чем Майя упрекала ее? В том, выходило, что все она делает не так. Все не так. И подарки покупает даже не те. Но разве это не было неуважением к трудягам, на которых деньги с неба не падают? Разве подспудно этими подарками не оскорбляла она и их, и ее, Майю, покупающую одни туфли на сезон? Майя с полоборота переходила на личности, с ледяным спокойствием месила словами грязь, выгребая подноготную, Соня выла, каталась по полу, пила, однажды проткнула себе штопором руку так, что зашивали наутро. Или жгла себе руку сигаретой до мяса и кричала: «Ты казнить меня хочешь, ну на, на, получай!» Майя глядела на этот театр с презрением правоты. Мы, сермяги, такого себе позволить никогда не могли, нам всегда с утра на работу...

Словом, когда она спустилась на пляж Ла-Кон-ча, то твердо знала: никаких, даже внутренних, восторгов не будет. Но вышло иначе. Океан лежал неподвижно, бездыханно, изредка только мелкая морщинка набегала и таяла у песка. Он прилежно отражал облачко, остров Санта-Клара, что в нескольких сотнях метров от берега, – яхты за буйками открыточно вросли в стеклянную поверхность воды, – и вдруг внезапно изогнулся, как рыбина, зашелся в спазме, сверкнул глазом, выдохнул и жажнул лапой по берегу, подняв облако брызг, сверкнувших на солнце фальшиво-изумрудным переливом. Небо в ответ почернело, нахмурилось, рванул ветер, прошел по эстакаде, кинулся в каменную грудь набережной, жестко прошелся по трепетным тamarискам, помчался по улицам. А океан бил еще и еще, он дышал, хрипел, раскатно рычал... а потом, повертев волнами, перевернулся на другой бок, успокоился, засопел и стал стеклом, зеркалом, да таким безупречным, что в отражении можно было разглядеть каждое перышко чайки, черную бусину глаза и радостно выскакивающий из раскрытого клюва язычок.

Майя обомлела. Ей показалось, что ветер приподнял ее и после бережно, как драгоценное дитя, поставил на место. Она все вытягивала руку вслед откатывающейся волне, словно глядя ее, и, когда уже все стихло, она вдруг заметила на правой руке две алюминиевые чешуйки размером с мелкую монетку, как у карпа, – они проступили сквозь кожу, сверкнули и ушли назад, под кожу. Уходя, она прощально помахала океану, расставив пальцы и как будто случайно показав ему отчетливо просматриваемую перепонку между мизинцем и безымянным пальцем – еще одна врожденная патология, о которой никто, кроме отца и Сони, не знал. Соня в детстве сначала обожала эту перепонку, потом боялась, а с юности снимала ее на просвет. Майя показывала перепонку сестре скупно, всегда делая из этого особенный подарок – имеет право, это ее сокровище, ее уникальность. Когда отец умер от инфаркта, осталась только Соня, которая знала тайну. Ну и все, кто видел снимки с подписью «Человек-амфибия».

– Боже ж ты мой! Сколько я здесь окон и полов перемыла! – радостно, без тени усталости воскликнула Зухра на следующее утро, когда они с Майей отправились в парикмахерскую. Майя все-таки решила не шокировать местный перламутровый цвет нации своим шиньоном и выложить на голове «кулебяку» – так она обозвала здешнее пристрастие к пышным старомодным укладкам. Шаг Майин сделался чуть более твердым, часть пути она уже знала – ходили тут вчера, у нее глаз-алмаз. Зухра вела ее к знакомой парикмахерше Стелле, украинке, та давно тут осела и даже работает вбелую, потому что у нее золотые руки и она нарасхват, а раз так – в тени сидеть невыгодно. Без языка не объяснишь, какую хочешь стрижку, поэтому не в первую попавшуюся парикмахерскую, а к своим. То, что надо привести себя в порядок, Майе стало ясно не только из косых взглядов соседней и чинно гуляющих по набережной одетых в свет-

лое престарелых пар – сами волосы подсказали ей это: пробор перестал слушаться и ложился криво. Признак верный – волосы запросили ножниц.

– И сколько лет ты тут живешь? – скорее из вежливости поинтересовалась Майя.

– Да вы же уже спрашивали, – рассмеялась Зухра. – Двадцать! И знаете, сколько русских я знала?

– Интересно! – искренне проговорила Майя, решив, что сейчас-то она и разведает все о Зухре. – Почему «знала»? А где они теперь?

– Во-первых – Соня. Софья Потоцкая. Мировая звезда. Во-вторых, Дмитрий Иванович Лисицын, дирижер оркестра, жил тут десять лет с женой, дети к ним приезжали, я покажу вам их дом. В-третьих, Юрий Григорьевич Вдовкин – очень солидный и серьезный господин, недавно ему исполнилось семьдесят. Тут живет, в двух домах от вашего. Один. Супруга его скончалась двенадцать лет назад, и его старший сын – богатый русский, сам в Ницце, а отца – сюда, климат здесь хороший для сердца. Есть и второй сын, младший, Алиошка, но он какой-то непрактичный...

Они вошли, колокольчик звякнул, и Стелла, хлопочущая над клиентом, прервалась и, широко расставив объятия, двинулась им навстречу:

– Майечка, моя голубушка, заходите, будьте как дома, я сейчас!

Это была женщина лет пятидесяти, пышнотелая, без здешнего лоска, тыкающая и гогочущая, в леопардовых легинсах и золотистом топе с чешуйками; от нее резко пахло духами, когда она сжала Майю, но весь этот одесский шик вмиг слетел, когда она вернулась к клиентке, застывшей с иссиня-седыми прядями, переложенными фольгой. Легинсы и топ как будто померкли, Стелла заговорила по-испански грудным голосом, в движениях никакого панибратства, все услужливо, корректно, с европейской выправкой.

«Ну, значит, и я поставлю сучку на место, – подумала Майя, присаживаясь на стул. – Ишь, решила, что, раз я из России, со мной можно как с равной. Ничегошеньки подобного!»

Через сорок минут они с Зухрой вышли из парикмахерской, обе совершенно обновленные. Майя покрасила волосы, подстриглась, как тут носят, уложилась. Она победно недоплатила Стелле, в последнюю минуту придравшись к локону на макушке.

– Это такую у вас тут делают халтуру? – скорчив недовольную мину, пробурчала Майя. – И за это я должна платить тридцать пять евро? – И с удовольствием отметила растерянность и на мясистой роже Стеллы, и на маленьком правильном личике Зухры.

Сначала они шли молча, и Майе даже показалось, что Зухра от обиды пустила слезу, но потом разговор возобновился сам собой как ни в чем не бывало.

– Как же вам идет такая стрижка! – не выдержала Зухра. – Да вы просто девочка! Хотите, познакомлю вас с кем-то, чтобы была компания? Вот Юрий Григорьевич всегда один и такой печальный!

– Нужна я ему, – пробурчала Майя. – Мне бы лучше какую-то пенсионерку моего возраста. Не знаешь такую?

– По-русски говорящую – нет, – пожалала плечами Зухра. – Знаю Пашку, молодой такой балбес, он с машиной. Хотите, покажет вам окрестности?

Стрижка пошла насмарку. После обеда прилегла, намереваясь почитать, а потом вечером пойти на набережную, но фокус не удался. Поднялось давление, тысячи молотков забарабанили в виски и в затылок, всюду по венам словно закопошилась, запросилась наружу какая-то жидкая змея с бурыми глазами, и от ее потуг пошла по крови пульсация, заглатывающая при каждом сокращении всю влагу из мембран гордых эукариотов. Майя теперь представляла изгвазданное поле битвы, легла на кровать ничком, безжалостно плюща прическу, завернулась узлом и ушла под мутную воду с головой, в сон, в студеный сна, в ошметки мыслей «зачем, о чем, домой, куда я, боже, простите...» Таблетки, которые она приняла, начали действовать, но состояние не улучшалось, она как будто уплывала по реке в чью-то злобную пасть, – так,

наверное, и умирают, подумала Майя: сворачиваются, упаковываются назад в личинку и уплывают к истоку, вышли из воды сухими, да уходим в мокрое. Потом кинуло в сторону, в одну, другую, рухнул потолок и раз, и два, заколотила дрожь, мороз на лбу, иней на ресницах, ледяной сквозняк... Она поднялась, держась за стены, добрела до кухни попить воды. Где Зухра? Может, позвать? Как вызвать «скорую»? «Нет, нет, надо домой, там хочу умереть», – причитала Майя. Она пролежала почти в забытьи до утра, весь следующий день не отвечала на звонки, отлеживалась, отпивалась чаем с молоком, отъедалась белой булочкой, слава богу, запаслась загодя. Кошмар отступал, она вылеживала хворь, вытаптывала ее своим телом, то засыпая, то грезя наяву, вспомнила папу, как любил он очаровываться книжками, людьми, кинофильмами, идеями, как расхаживал в вязаной толстой кофте по вечно невымытому полу и декламировал: «Наполеон! Великий был цивилизатор! Великий был инициатор! Вот завоевал бы он Россию в двенадцатом году, так и были бы мы европейцы. Чистые, сытые, законопослушные, и города бы наши цвели, и не было бы революций, репрессий, крови. Все бы у нас было другое... Эх, Наполеон, Наполеон...» И вдруг начинал восторгаться, цокать языком, блестя лысиной: «Новый к нам пришел актер, Петровских, Чацкого играл, но как! Как! Глубоко, необычно, парадоксально. У нас в театре актера такого калибра и не было никогда, да во всей стране нет актера такого калибра!» А потом через месяц уже и забывал его фамилию или мог упомянуть небрежно... Опять говорила мысленно с Соней – как прекратить эти диалоги? Ну сколько, сколько можно, связки иногда даже болят. Потому что внутри, когда говоришь, больше напряжение, выше поднимается кровь. Вылезло, как из змеиной норы, о Вале-Валентине, мачехином хахале, сорок лет разницы, переспавшем с Сонькой по злобе. Осанистый модный архитектор с золотым перстеньком на мизинце, красивой седой стрижкой и благородным лицом, но с мелкой, скользкой улыбочкой, обнажавшей маленькие зубы и большие десны. Любил цитировать: «Никогда ни у кого ничего не просите, сами придут и всё дадут» или «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». Отымел в отместку Алене, душу Сонькину отымел – за то, что Алена то ли не дала ему, то ли отказала впоследствии. Мерзкая тварюга Сонькина мамаша! Не манда, а проходной двор... И вот Сонька прильнула тогда к ней после Вальки, после первого раза, такая окрыленная, гордая собой, что стала женщиной... Потом порезала вены, так же, как и она сама когда-то, – у Майи на руке всю жизнь красовались побелевшие от времени шрамы, она где-то подсмотрела это в фильме и перед рождением Сони от невыносимости жизни, а больше все-таки для театра, полоснула себе лезвием от папиного станка по левой руке. Стыдно было всю жизнь перед докторами, когда обнажала руку для измерения давления или забора крови из вены; поначалу извинительно лепетала: «Это я бутылкой в детстве случайно», – потом перестала говорить, а просто внутри вся сжималась, что удивятся, что подумают, что скажут... Так Соня и тут собезьянничала – поцарапала руку, неглубоко, но царапины не проходили долго, и от них тоже остались тонкие белые ниточки шрамов. Как же цыкнуть на это перешептывание, где он, этот внутренний язык, и как его прикусить?

Парубок с прямой челкой – Паша, хохол, – ждал ее у подъезда на белом форде – она таки решила прокатиться по окрестностям. А почему бы и нет – после выздоровления, вернувшегося аппетита, курения в свое удовольствие? Какая же щенячья радость, когда раз – и нет ничего! Она намазывала булку маслом, она наливала сливки в кофе, она ела у распахнутого окна и что-то говорила птичке, присевшей на парапет. Радость! Вот так взять и полететь от дома к дому, с ветки на ветку...

Поправила прическу, надела одежду поновее. Заплатит парню пятьдесят евро – она любила патронировать, покровительствовать; бывало, подберет в институте какого-то монтерешку, совсем никудышного, замшелого, одиноко живущего в норе, и давай ему бутерброды таскать: поешь давай, бери, не стесняйся, тебе силы нужны. Приручала, любила незамысловатую благодарность: донесет чего-нибудь или просто при встрече остановится, назовет с выра-

жением по имени-отчеству. Вот и сейчас подумала: надо на этого Пашку посмотреть, мается небось на чужбине. Но он оказался совсем не бедолага: в красивом свитере и аккуратных джинсах, и даже не в кроссовках, а в ботинках, – и Майе это понравилось: старается парень. Значит, тем более достоин. Они быстро разговорились по дороге в Фуэнтеррабию – живописный городок в сорока километрах от Сан-Себастьяна, рыбацкая деревня с геранью на окнах, платанами, старинным замком и эскалаторами, уносящими людей в небо, наверх, к замку. Красотуленька! Майя даже всплеснула руками. Все ставни покрашены в яркие цвета, стены снаружи беленые, между деревьями флажочки натянуты, речь везде французская слышна – она сразу отличила. «Так тут до Франции рукой подать – на лодочке переправляешься, и через десять минут *ондаи, парле ву франсэ*», – с гордостью констатировал Паша. «У нас-то страна большая, – протянула Майя, – у нас таких фокусов не бывает. По дому-то скучаешь?» Он пожал плечами: «Дома-то хорошо, да делать там нечего, у нас все поразваливалось. Завод был, работали, а сейчас стоит, так все поужезжали, старичье одно мается». Майя захватила с собой пирожков с рыбой и рисом, старые были в холодильнике, но она их оживила на паровой бане. Паша с удовольствием принялся за пирожки, ел с аппетитом, нахваливал, говорил, что кухня в Сан-Себастьяне отменная, но лучше домашнего-то ничего нет, да и рыба эта ему по барабану, он по мясу больше. «Ну, заходи, приготовлю тебе», – по-матерински пообещала Майя, и он закивал, пустившись потом в пыльные рассказы о своей семье в Николаеве, о былом хозяйстве, войне, жене, тоскующей, но понимающей, за что страдает. Ежемесячно посылает им по пятьсот евро, так они уже и дом починили, и дети в школу ходят одетые, и еду им шлет, посадил на хамон. Потом разоткровенничался о девах, не заметив, как Майя помрачнела: «Гроздьями вешаются, Майя Андреевна, отбоя нет! Ох и охочи тутошние бабы до мужиков. Особенно англичанки. Не разбуженные они, а хотят, парней настоящих как будто и не видали, стонут, кричат *мор, мор*, а потом обязательно *сенкью*. За что, спрашиваю, сенкью-то? Брат сначала приехал, в кафе работает барменом, тапасы-шмапасы продает с козьим сыром жареным и помидоровым вареньем, пробовали? Надо. Я вам принесу, возьму у него некондицию, они еще вкуснее. Или с креветкой, тертым яйцом, хамоном и майонезом. М-м-м!» Майя представила себе Пашин член, посмотрев на аккуратный бугорок на джинсах, ладенький небось. Это у нее было в заводе – разглядеть и оглядеть. И от чего там стонать? Да ну, сказки! Иной раз у худюшего мужчины с тонкой шеей такое хозяйство проступает, но внешнего вида нет и впечатления нет. Конфуз один. А иной раз глядишь на бычка, низенький, крепенький, лицо напряженное, злое даже, и сразу понимаешь: вот этот уж если дерет, то перья летят. А этот что... Трется небось, как теленок, а перед ней хорохорится, вроде как доверительность демонстрирует.

Но Паша был все равно приятен ей: его откровенности, его здоровый аппетит, и, когда они, оставив машину на набережной, пошли по городку, она даже взяла его под руку и угостила обедом. Чисто по-матерински, стопроцентно.

– Разве так надо жарить рыбку! – сетовала она на сардины, которые, по ее убеждению, были пересушены и немного подгорели. – Вот я готовлю, так это да!

Они пошли по улице, параллельной набережной, в один голос восхищаясь красными и зелеными ставнями старых двухэтажных домов, геранью на окнах и живописно болтающимися на веревках подштанниками, словно ничего тут многие столетия не менялось. Она заглянула в один магазин, в другой, купила Пашиному сынку лодочку из дерева и рогатку с баскским знаком, а ему самому черную беретку и начала было рассказ о Соне, аккуратно, вкрадчиво, надеясь за все свои благодеяния получить от него поддержку и полное одобрение всего упомянутого, но вдруг услышала голос Зухры, окликнувшей ее с тротуара напротив. Зухра была с мужчиной благородного вида, с хорошей осанкой, дорого и со вкусом одетого, в годах, но еще очень крепкого и моложавого. Они перешли к Майе с Пашей и с радостными улыбками принялись здороваться и жать руки.

– Это Юрий Григорьевич Вдовкин, – представила Зухра своего спутника Майе. – Приехали сюда купить ему куртку, тут ведь дешевле, в Сан-Себастьяне лютые цены.

– Я слышал о вас, – Юрий Григорьевич учтиво поклонился Майе. – И тебя, рысака, рад видеть! – сказал он по-свойски Паше и нарочито резко хлопнул его по спине.

Сели в кафе на набережной. Отошли от пышных улиц в сторону, поближе к океану. Кафешка простецкая для здешних мест, без лоска, но для советского человека более милы пластиковые стульчики и белые пластиковые столы, нежели барные стойки, высокие табуреты пивных или бархатные кресла кофеен. Официанты без белых передников в пол и французского прононса, как принято на центральных улицах, принесли клеенчатые меню, и усевшись быстро заказали – выбор-то был совсем небольшой: жареные кольца кальмаров, креветки, салаты, пиво, кофе и сладкие булочки.

На эти стульчики русскоязычная четверка сошла словно с открытки «Крым – 1985». Тютелька в тютельку. На Майе самопальная юбка, куплена в переходе как польская – крупная клетка, приталенная, ниже колена. Перед поездкой перетряхивала антресоли, наткнулась совершенно случайно и подумала: чем не вещь? Не мнется, скромная, надежная, а что старая – так кто же там это знает? Сверху блузка кремовая навыпуск, тоже из старинных закровов, купила когда-то в дореформенном ГУМе по случаю: зашла утром, и вывесили с большой скидкой. Планочка и воротничок словно из вафельного полотенца, а сама гладкая, с еле заметной крапинкой. Женщины такой крупности здесь, конечно, блузку навыпуск не носят, ну и что же – перетягиваться неудобным поясом теперь? Но стрижка у нее была по здешней моде, она с утра поправила, так что пускай гадают, откуда она такая необычная здесь появилась.

Паша за столом сутулился, и если бы не креветки с пивом, ну точно как биндюжник. Цокал, чмокал так, что Юрий Григорьевич сделал ему замечание и получил за это суровый взгляд от Майи.

Юрий Григорьевич был в светлых холщовых брюках на дорогом ремне, светлой сорочке, в легкой клетчатой светло-бежевой кепке, на плечах лежал синий свитер с белыми полосками на манжетах, – элегантный, как в кино. «Прям благородный лев», – отметила про себя Майя.

Паша заказал еще тарелку хамона, Зухра сок и пирожное с кремом, Майя крем-карамель, который в разговоре упорно именовала «яичным кремом», а Юрий Григорьевич высокий стакан желтого, как подсолнечное масло, пива, и Майя даже загляделась на крошечные пузырьки у стенок, прижимавшиеся изо всех сил к стеклу, но неотвратимо всплывавшие наверх себе на погибель. Юрий Григорьевич как будто старался не беспокоить их, отхлебывал осторожно, зря стаканом не тряс.

Лохматая официантка с наколкой в виде черепахи, проходя мимо, обронила полотенце, и Юрий Григорьевич учтиво поднял его и подал ей.

– Примите мои глубокие соболезнования. Мы все хорошо знали и очень высоко ценили Софью Андреевну, вашу сестру, – немного торжественно проговорил он. – Какой ужасный, ранний, несправедливый уход.

Майя тяжело промолчала.

– А что там в Москве? – уже иным тоном продолжил Юрий Григорьевич. – Давно там не был.

– Да всё там хорошо, – отмахнулась Майя. – В магазинах всего полно, бери не хочу. Коммуналка только растёт, а так...

– Я имел в виду настроение, – улыбнулся Юрий Григорьевич.

– Грызня. Одни за Крым, другие против. Кто-то говорит, война будет, другие говорят, что, наоборот, лучше станет... Не поймешь. Но злобы много.

Юрий Григорьевич достал трубку, не спеша забил в нее табак и закурил.

– Ну а вы-то как думаете?

Майя вдруг почувствовала напряжение, да такое, что у нее зашипел кончик носа. Что пристал-то? Дымит тут, вырядился в лорда, а потом раз – и донос в Москву накатает.

Но Юрий Григорьевич глядел на нее с улыбкой и совсем не был похож на стукача.

– Я вам так скажу. В Москве хорошо, а как на окраинах, не знаю. Может, там людей едят. В поликлиниках очереди, лекарства заоблачные, но мясо есть, рыба даже наша, и неплохая. Народ опрятный ходит, многие стали за страну, а что в этом плохого? А Крым... Для нашего поколения Крым – рай. Если был у нас рай, то там. Сколько детей родилось из крымских кушей! У нас как сотрудница в Крым съездит, так через полгода брюхо торчит. Без мужей рожали детей, тяжело растили, а все равно счастливые были. Песен сколько было! Без рыхлятины, без глупых припевов, настоящая романтика. А портвейн крымский... М-м-м... Там народное было море, горы, народ там наш был. И есть.

– «От Махачкалы до Баку волны катятся на боку», – сладко затянул Юрий Григорьевич. – Ох, как же я любил бардовскую песню! А вы?

– Я больше Зыкину любила, Пугачеву. «Арлекино» помните? Сейчас нет таких задушевных песен.

– Ну а Путин что? На века? – с улыбкой спросил Юрий Григорьевич.

– А кто лучше его? Либералы воровали, над народом глумились, олигархи куражились... Это что, их шахты были? Их нефть? В глаза говорили: сдохните!

– Я с вами, Майя... Как ваше отчество?

– Майя Андреевна.

– ...Майя Андреевна, не согласен. Плохо было – да, тяжело, но настоящие либералы у власти так и не были. Шестерки одни.

– Ну, если б еще и настоящие пришли, нам бы совсем каюк настал.

Паша и Зухра притихли: намечался огонь с двух сторон.

– Мне всегда Явлинский нравился, – решительно проговорил Юрий Григорьевич. – Он разумный был, грамотный, четко понимал, никогда кровожадных идей не высказывал.

– Малахольный ваш Явлинский! Да где он, куда заховался?

Майя сделалась пунцовой, руки принялись тереть салфетку.

– А вот и не скажите, – с нажимом проговорил Юрий Григорьевич, – нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Многое из того, что он говорил, сбылось. Еда есть, все выровнялось, законов только хороших нет. Он рыночник был, настоящий демократ, но с человеческим лицом.

– Да что вы тут понимаете! – взвилась Майя. – Сидите как у Христа за пазухой, хамон в зубах завяз, поехали все, а Россию в покое оставить не можете. Кто у вас тут главный? Король? Вот про него и думайте! А то – нет, рецепты какие-то, прогнозы. Окститесь уже.

Она встала и опрокинула стул, Юрий Григорьевич подхватился, поднял стул, принялся ее усаживать.

– Ну, простите меня, дурака, и что это я о политике, в самом деле. Вы правы во всем, это я от жизни отстал, да и заскучал, домой-то всегда тянет.

Майя села, отпила воды и неожиданно для себя смягчилась:

– А вы-то чем в жизни пробавлялись?

Юрий Григорьевич был инженером, даже в оборонке поработал, но без секретности, слава богу. Сыновья у него, внуки. Уехал, потому что дети переехали в Европу, а жена померла, не оставаться же ему на старости лет одному в стране. Вот и забрали его сюда. Оттрубил, как положено, от звонка до звонка, восемьдесят три процента дней в году начинались одинаково – со звона будильника, икру на хлеб не намазывал. Когда перестройка началась, ходил и на Смоленскую, и везде, к Белому дому ходил, видел своими глазами. Газет вот только теперь нормальных нет. Жалко. А как раньше читали «Московские новости»! Взахлеб. И «Огонек»

Коротича. Все сдались. «Независимая» стала никуда, «Новая» еще хоть как-то держится, но единственная радость тут – телевизор и русское чтение.

Майя фыркнула, но спора не начала.

Было в нем что-то симпатичное, мягкость, что ли, манера, глядел он трогательно и открыто, заплатил за всех. Приятно.

Они встали, Юрий Григорьевич рассчитался. Пошли назад по набережной, он взял Майю за локоток, учтиво, бережно. Они впереди, Паша с Зухрой сзади.

– Поедьте на моей машине, покатаю вас, – робко предложил Юрий Григорьевич, – тут красоты, горы, море, святая тропа идет паломническая... Я вас старой дорогой повезу, там виды самые лучшие.

Она согласилась. Он заплатил Паше за услуги, и тот с Зухрой тут же испарились в воздухе, словно и не было их.

Они медленно поковыляли к машине на затекших от долгого сидения ногах мимо зонтиков, ярких кафешек, аккордеониста под платаном. Ей было приятно идти под руку с мужчиной, а ему было приятно, что он идет с дамой хоть и на редкость чудаковатого вида, но московской, родной, своей, понятной, которой никуда не надо спешить, которая тоже, по всей видимости, одинока и с которой он сможет нарушить здесь свое унылое одиночество.

Машина у него была роскошная, Майя отметила это: черная, лакированная, с кожаными бежевыми сиденьями и приятным запахом дорогого табака внутри. «Кино какое-то», – подумала Майя, а вслух заметила: «Не машина у вас, а корабль. Я на такой и не ездила никогда». Ему было лестно, она видела.

Поехали. Поднялись сначала наверх к старинным стенам и крепости, и Майя сказала: «Как в кино, только это не декорация, а настоящий средневековый крепостной вал, и собор по-настоящему старинный, по-честному, в России от такого времени и не осталось ничего». Он кивнул. «Вы историк?» – «Да что вы, я простая кадровичка на пенсии, по меркам людей науки и искусства – маленький человек с галерки».

Спустились к лесной дороге, что шла над морем. Останавливались, глядели на горизонт, слушали шелковистый шелест океана, шурились от солнца – яркое оно здесь до боли. Майя рядом со спутником чувствовала себя на удивление комфортно: рост его позволял ей казаться самой себе женщиной, а не гренадером – он был на полголовы выше. Пахло от него приятно – лимончиком и свежестью. Лицо Юрия Григорьевича в какие-то моменты даже казалось ей красивым: нос небольшой, заостренный, щеки, хоть и с красными прожилками, и старые, впалые, а с благородцей в очертаниях, скулы мужественные, выступающие.

По дороге они заехали в Пасайю – крошечный городок у горы, с главной улицей, нависающей над морем, зашли там в ресторан с белыми скатертями – закрытый еще после обеда, но кофе и мороженое им подали. Откровенничали: она ему про подружек, совсем немного про Соню – знала себя, что может обрушиться настроение, и тогда будет не до милой болтовни, – он ей про жену, как любил ее и как страшно она уходила. Потом заказали шампанского, кислущего на Майин вкус. От шампанского Майя захмелела, океан закрутился у нее перед глазами, скала; ей вдруг показалось все смешным: и эти скатерти, и официанты, начищавшие серебро перед ужином, и старый лодочник, который, переправляя людей с одного берега проливчика на другой, каждые пятнадцать минут махал официантам рукой без малейшей реакции с их стороны. Она смеялась, без стеснения показывая собеседнику золотой зуб, что был у нее во рту с незапамятных времен. Когда он говорил о жене, сама того не заметив, опустила свою руку поверх его – холеной, с перстеньком на мизинчике – и сказала даже на «ты»: «Ну, не убивайся ты так, не старый еще, поживи, отпусти горе-то. Дал Бог пожить – живи».

Они вернулись под вечер, он подвез ее к подъезду, и она, веселая, не удостоив Хесуса – сменщика портье, молодого модника в очках с затемненными стеклами, – даже легкого кивка, поднялась к себе, скинула в прихожей туфли и запела. Когда она последний раз так вот пела

после прихода домой? Лет тридцать назад? Сорок? Да, да. Когда окончила курсы, сдала экзамены и впереди были каникулы и новая жизнь.

Быстренько, как в молодости, сняла с себя все, занырнула в душ, обернулась в халат и плюхнулась в кровать прямо поверх одеяла. А почему бы и не погулять тут чуть-чуть? Да смеха ради. Дает Бог – надо брать. Нормальный он, этот Юрий Григорьевич, и приятный, воспитанный, образованный. Что старый, так и мы не молоды. Она вспомнила его лицо, брови ежиком, серые глаза, совсем не выцветшие, как это бывает у стариков, красивенький маленький почти женский нос, сухие, чуть сероватые тонкие губы, серебряную щетину, проступившую к вечеру. Она вспомнила его запах, и рука ее скользнула под халат: да, ей хочется, она будет, а потом уснет, после этого так сладко засыпается, так нежно и протяжно спится... Она стала представлять себе то, что представляла обычно, репертуар оставался неизменным уже много лет: купе в поезде, молодая женщина и трое мужчин в отблесках молнии исступленно сношаются, и извиваются, и воют. Они наклоняют ее, входят в задок, потом в передок, она трогает их, они мастурбируют, кончают и в нее, и на нее, и потом опять и опять. Или в поезде же, но в другом, в плацкарте, мужик пьяненький, сальненький лапает бабу, и ей нравится, и они целуются, и она его тоже лапает и льнет к нему, а потом они оба семят в клозет, запираются там и в тесноте быстро так и страстно соединяются как придется, потому что неумоготу им, и сладко, и хорошо... В конце часто приходило еще одно видение: как немчура насилует девку, вставив ей в рот дуло, и, доходя уже до оргазма, она думает, вынет он ствол или спустит курок.

Она кончила, длинно, со стоном, свернулась клубочком, натянув на себя плед, и проспала так до одиннадцати утра – уходилась вчера, имела право.

– Майя Андреевна, пойдёте снова в кафе? Здесь, никуда не поедём. На набережной с видом на океан, там такие закаты!

Голос звучал очень тепло, но немного встревоженно: оказывается, он дозванивался все утро, а она не отвечала.

– Хорошо.

Она чувствовала себя легко и бодро. За ней ухаживали. Ничего не беспокоит – ни давление, ни ноги, ни десна. Отеков особых нет, вот что значит океанический воздух. И душевный подъем, а как же? Мужчина в дорогой одежде, с гладким, красивым европейским лицом и серыми глазами, как в рекламе дезодоранта, приглашает ее в кафе с видом на океан. Да видел бы его кто из отдела! Зашлись бы! Своими мужиками вечно хвалились, а у тех пузо, брыли висят, зубы чернее ночи от табака. А здесь... Ни один такой не жил в Москве в ее округе, там всё больше треники, ушанки, авоськи. Ну, есть, конечно, ухоженные молодые – с семьями, с упитанными детишками-щеканами в иностранных комбезах и новомодных сосках на прищепках, но лоску-то в них ноль! Она отвечала с девичьим кокетством, что не решила еще, будет ли сегодня выходить на улицу, так ведь славно вчера погуляли, и что она позвонит, когда решит. Это был ее старый как мир девчачий трюк, так она поступала в молодости, так все поступали в молодости: обещать, залечь на дно и посмотреть, что будет.

Повесив трубку, она огляделась и срочно вызвала Зухру убираться – кавардак же, хуже Сонькиного. А ну как решат они зайти – и чего? Зухра обещалась к трем, и Майя решила почистить перышки, сделать себе огуречную маску, предварительно почистив лицо кофейной гущей, а потом смазать кремом пожирней, питательным, чтобы разгладились морщины. И позагорать у открытого окна. Или, может быть, пойти в салон?

Подошла к ростовому зеркалу в прихожей. М-да. Но по отдельности кое-что еще неплохо. Живот. Небольшой, но под грудью жировой валик, никакой талии. На ногах венки, жилки, и на бедрах целлюлит. И что ему вступило?.. Длинные худые ноги, маленькая попа. Спина на твердую четверку, но сутулость – скрючилась, словно два ведра на коромысле несет. Ни капли привлекательности. А рот? Под подбородком складка. Профиль пеликаний, зоб не зоб,

но уродливо. Ключицы красивые. Грудь достаточно молодая, потому что не затасканная, так она всегда думала, но как ее покажешь отдельно от всего остального?

Странная, но в то же время и обычная женская судьба. Алена люто ненавидела падчерицу, кричала, подсовывала заветренные остатки салата, скисшее молоко, обряжала в коротковатые тесные брючки, денег не было ни копейки ни на мороженое, ни хоть на беляш. Подрабатывала Майя как могла. Посылки разносила после школы, взяли ее после восьмого класса, пожалели. Это Сонька стремглав взлетела в журналистику, и не без Майино участия. На ее и отцовы деньги принарядилась, поступила легко, сразу пошла на фотокора. Вокруг мальчишки, девочки, их родители, приличные семьи. Сразу какие-то имена зацепила – в том доме, в этом... Завращалась.

У Майи только шваль, только мусор. Первые мужчины – сослуживцы. Пошла сначала секретарем в транспортную контору, пока училась на курсах, начальник заглядывался, пару раз тискал, но как-то хотел наскочить в кабинете, да не смог, не случилось у него. Потом водитель – всё цветы возил и какие-то духи из перехода. Молодой совсем, белобрысый, безусый и безбородый. Майя на голову была выше его, дразнила «сынкой». На курсах кадровиков очень нравился ей преподаватель марксизма-ленинизма Павел Семеныч, она ждала его после занятий, приставала с глупыми вопросами, но он женат был и на сторону не ходил. Пренебрег. Да и нетрудно было – корова!

В институте радиоэлектроники и автоматике, куда ее распределили сразу после курсов, – помнила хорошо, что вышла на работу летом, преподаватели были в отпусках, студенты на каникулах, гуляли только кадровики да администраторы по гулким пустым коридорам, – был инженер, калечный, без правой кисти, вдовец, много старше ее, и случилось между ними. Он подвозил ее после работы домой на своем старом синем жигуленке, оборудованном множеством загадочных приборов. Читал ей стихи – Вознесенского, Ахмадулину, заводил бардовские песни: «Давайте говорить, друг другом восхищаться», – однажды зимой по морозцу да снежку повез ее в Загорск полюбоваться, – но там «жигуль» встал, Майя стояла два часа на морозе, пока мужики жигуль этот дергали да прикуривали. Ездили еще в Звенигород по весне, в Савви-но-Сторожевский монастырь, глядели с горы на Москва-реку и поля за ней, дышали паром на далекий горизонт. Она все боялась, что «жигуль» опять не заведется: хоть и весна, а ноги-то мокрые, не настоишься. В машине же он как-то виновато пощупал ее за коленку рукой без кисти, и она обняла его, придвинулась, и они поехали к нему, а вскоре и поженились. Без помпы, без фаты – посидели в отделе с девчонками, выпили и разошлись. Второй брак, так чего гулять, как в молодости? У него осталась однокомнатная на «Красносельской», в пятиэтажке, но своя, и вот принялись они ее с жаром обустроить, обои лепить, рамы красить. Сонька все фыркала на него: «прогорклый, как старое пиво», – а Майе он казался надежным и не очень приставучим. Неплохо жили, ладили, пока не помер он внезапно от инфаркта. Ей было тридцать два, ему сорок восемь. «Ну все, больше рыпаться не буду», – твердо решила про себя Майя.

Когда Сонька укатила в Чехословакию со своим первым – он фотокор ТАСС, она его жена, поженились еще на последнем курсе, – Майя переехала к отцу. И жили как раньше, пока однажды не нашла она его уже окоченевшим, на полу, лицом в разбитые очки.

Одной ей понравилось. Алену, повадившуюся десятки стрелять, отшила крепко – жизнь научила. Прибралась. На рынке купила фиалок и герани и зажила. Дом, работа. Иногда девичьи посиделки. Книжки, телевизор.

Пока не появилась Вика. Контролерша-мальчик: форма, стрижка, козырек – оттого, говорит, и пошла в метрополитен, чтобы вот так сидеть и глазеть на эскалаторы, полные людей. Быть мальчиком у всех на виду. С особенностями девушка. Дежурила на «Войковской», рядом с которой была тогда Майина квартира. Майя каждый день ездила туда-сюда мимо нее, зада-

валась вопросами, та (тот) улыбнулась ей пару раз, потом кивнула, потом вышла из стакана и поднялась на эскалаторе вместе с ней. Прошлись, познакомились. Чудно все, но бывает же.

Все в Вике было мужское: и повадка, и голос – низкий, пацанский, – и ужимки, да она еще и утрировала: курила, держа сигарету между большим и указательным, с особенным нажимом пропускала даму вперед, подарки нелепые делала. И жалко девку – быть ошибкой природы, – и смешно от всего. Тощая как цыпленок, родители вроде приличные, так ушла от них, снимает комнату. Учиться – нет, любую профессию осваивать – нет, будет зарабатывать по-мужски, купит машину – станет шоферить, раньше грузила, сторожила. Английский хорошо знает, с детства были репетиторы, иногда что-то переводит, знакомые заказывают, сидит по ночам. Деньги вроде на жизнь собираются. Подружились.

А чего бояться-то: хера ведь нет. Честная, несчастная, так чего ж гнать? Варила ей супы протертые – от гастрита, Вика заходила вечером, освобождалась в девять, Майя кивала ей с эскалатора и ждала к ужину. И дом не пустой, и ест-нахваливает. Приятно. Попросилась ночевать – так чего ж, вон комната стоит пустая, так нехай. Видела ее утром в майке и трусах – все мужское на ней: трусы черные удлиненные, майка – как пацаны носят. Форму надевает как солдатик, одергивает подол. Призналась даже, что бреет волосы на руках, чтобы росли лучше и были пожестче, что драться любит, однажды видела у метро, как двое мужиков к девушке пристали, так она влезла, руку ей сломали, зуб выбили. С гордостью рассказывала.

Выпили однажды под субботу на Восьмое марта, Вика принесла подарки, включила музыку, пригласила на танец. Майе едва доставала до плеча – ну какой танец! Так, трагедия. Слезы. Обморок. Разыграла, наверное. Наутро признания: о господи, господи!.. Майя молчала, вся сила из нее вышла, а та металась весь день и ушла под вечер якобы на вокзал жить, пока Майя не придет за ней. Майя не пришла, забрезгливилась, все сломалось внутри. Дурная история. С противниккой.

В метро Вики больше не было, через неделю нашла в дверях записку, написанную кровью. Слава богу, под отпуск случилось. Взяла первую попавшуюся путевку и – фюить! Когда вернулась, все уже чисто было, слава тебе, Господи, уберег...

Лет через восемь после Вики влюбился в Майю один преподаватель. Седой, математик, очень уважаемый в институте специалист. О нем говорили, что он разведен, но семье помогает, дети взрослые у него. Нравился он Майе, но она совсем отказала ему – и в чаепитиях, и в подвозе к дому, и в обмене книгами; как он ни старался, что бы ни предлагал – не шла она на контакт. Обожглась. Так говорила и девочкам из отдела, и себе самой. «Не до фигни, работать надо» – эту ее фразу знали все на административном этаже, Майя слыла беспощадно-строгой, безупречно соблюдающей правила кадровичкой: одна запятая в личном листке по учету кадров или исправление – заворот, все переписывай по новой. Без жалости. Порядок есть порядок. Если его нет, то ничего не будет. Так и прожила жизнь. Ужасаясь от Сони – единственное слабое место в ее отныне железобетонной обороне.

Пришла Зухра. Веселая, с букетом васильков. Соня любила васильки... Дура эта Зухра. Деревенщина.

– Мне подарили, – сказала со смехом, – а я – вам.

У Майи отлегло, она предложила кофе и пошла одеваться. Не сидеть же при уборке?

Зухра трещала без умолку: на кальмара двадцать пять процентов, много поймали, а вот камбала на семь евро дороже, чем вчера. Помидоры и яйца на углу дешевле на евро, брать надо! Представляете, вчера у церкви вынесли целый гарнитур, резной, красотища, и лампы, и торшер, ну, англичане набежали, растащили все, она и охнуть не успела. Помойки тут – всю квартиру обставить можно. Не надо пренебрегать, у Софьи Андреевны вон пустовато. В припортовый ресторанчик ходите, там в одном Пашкин брат работает, в том, где паэля с креветками, так пойдите туда, пойдите, скажите: от Паши, – брат высокий, смуглый такой...

Она вышла без тележки, в новых светлых брюках и просторной блузе, накинув на плечи Сонькин платок. Салатовый, с длинными розовыми листьями и бабочками-капустницами на них. Соня любила всякую мишуру, любила кутаться, заворачиваться в пледы, большие платки. Любила кольца с топазами, янтарем, яшмой. Любила закупать барахло, но долго у нее ничего не держалось, болезненная вдруг щедрость одолевала ее, словно всё, что имела, руки жгло, и она одаривала всех подряд, не разбирая, кому что сует. Майе обидно было до слез: за что, почему эти профурсетки, уборщицы, маникюрши, массажисты должны получать это все, когда по-настоящему о Соне заботится только она одна? Но сейчас она накинула платок без саднящей боли. Еще утром она вывернула Сонин шкаф, лишнее отдала Зухре, оставив себе косынки, перчатки, несколько беретов. «Ты же любила Соню? – спросила Майя строго. – Так вот, возьми на память, отдай детям, во что не влезешь». На глаза Зухры навернулись слезы. Но Майя их не заметила, накрутила платок на шею и отправилась в порт в ресторанчик. Она смотрелась в каждую витрину: хороша! Она улыбалась своей кривоватой улыбкой людям на балконах, курившим глядя на толпу. Она сказала «ола!» лавочнику, у которого брала овощи. Ей захотелось есть – она завернула в первую тапасную и набрала себе полную тарелку. Ну, разжирею – и что? Полюбите меня толстенькой, а худышка каждому мила. Поев от души, прошла старый город насквозь, вышла через Ла Ротонду к порту, кинула монетку гитаристу, наигрывавшему «Астурию», вышла к пирсу, где мальчишки с синими губами и блестящими, как у рыб, телами кидались очертя голову в воду, кто с кувырком, кто так, прошла мимо целующихся под мерное колыхание лодок пар. Майю восхищал мальчишеский кураж, она любовалась их кульбитами, сама чувствовала задор. Вот отрастут у них хвосты под животом, и отяжелеют они, будут сопеть и кряхтеть, храпеть и пукать по ночам, обнимать своих толстых баб, но пока какая же щенячья радость от них, какие брызги жизни!

Посетители припортовых ресторанчиков остудили ее пыл. Есть ей не хотелось и смотреть, как едят, тоже. «Круговорот дерьма в природе, – де-журно подумала Майя, – все сводится к одному, и вариантов нет», – но раздражение не приходило, душа пела и веселилась, ведь он же сейчас ждал ее звонка, ждал.

Вокруг было много англичан, впрочем, Майя давно заметила, что им тут медом намазано: и отель напротив главного пляжа и белой набережной назывался «Лондрес», и кладбище тут ихнее, и дальше по набережной корты – просто Уимблдон. «В этих краях отдыхает испанская королевская семья, – с гордостью сказал ей Пашка, когда они ехали в Фуэнтеррабию, – и английская королева ездит к ним в гости!» – «Ну-ну, – подумала тогда Майя, – а теперь и мы подтянулись, хоть и не баре».

Присела все-таки за столик, спросила чаю. Не было. Кофе. Не было. Смутилась. Ну, давайте сидр.

Слева за столиком – молодая пара: рука в руке, скромные тарелки, старомодный сарафан в цветочек и аккуратная тенниска, лица, натертые до красноты ветром и жестким солнцем; снимают, небось, пансион, трахаются в комнате до одури, вышли вот подкрепиться, глянуть на океан. За другим столиком, сразу видать, сестры, все три в возрасте, все три рыжие, в веснушках, с девичьими хвостиками, в по-школьному застегнутых до последней пуговицы блузках, с виду все безмужние, ну какого мужика можно приставить к такой красоте? Они клевали, а не ели из трех поставленных в центр стола тарелок: креветочки, картофель фри, кольца кальмаров. «Вот и я им под стать, – подумала Майя. – Была бы, если бы не ЮГ». Так она окрестила его – ЮГ. Теплое словечко. Были и испанцы, но больше все-таки приезжих. Пара французских геев дотошно копалась в меню, старшему лет сорок, с проседью, лысоватый, пузатый, пиво, небось трескает, свитер белый в полоску на пузе как барабан, а младший – чернявый, индус, что ли, лет двадцати пяти, с глазами-сливами и смуглой кожей. Заплаканный. Сколько слез от любви. Лакримоза, а не жизнь. Нет, к чертям.

Не успела Майя сделать первый глоток, как увидела Юрия Григорьевича и Пашу, радостно направлявшихся к ней.

– Ходили за покупками, Паша любезно помогает мне. Позвольте присесть?

Юрий Григорьевич был в отличном расположении духа. Присел и Паша.

– А я знал, что мы встретим вас, – раз не позвонили, значит ушли, а куда тут уйдешь – центр-то маленький. Я прихватил с собой старый телефон, сделал года два назад несколько снимков Сони, принес вам показать сестру.

«Ах ты, гаденыш! – разозлилась Майя. – И что ты хочешь мне показать? Что она важнее меня, красивее меня, талантливее меня и ты был с нею рядом? Ну и где она теперь, твоя Соня?»

Юрий Григорьевич заказал паэлью с большими розовыми креветками и апельсиновыми кругами, Паша – дешевый комплексный обед. Пока Майя смотрела, они мило переговаривались: Паша просил чем-то помочь своей родне, ЮГ кивал, потом говорил Паше о своей террасе, там солнечный зонт *плохо себя ведет*, да и труба с водой для полива растений засорилась, что ли... Вдруг Майя заметила, как таращатся на нее старые англичанки, и настроение совсем испортилось. За совка меня держат, как же, видок не тот, а испанки что, лучше выглядят? Да лахудры лахудрами, это Соня всегда под иностранку косила – и на этих фото тоже: сидит вон, свесив ноги с парапета в самую волну, брючки-дудочки, ножки-спичечки. Все под девочку работала: сумки-торбы, банданы с черепами – Майя и близко так не могла. Юбка, блузка поверх и кофта на пуговицах – вот ее гардероб, и пускай не косятся, денег-то у нее теперь поболее, чем у этих клуш.

Майя взяла зубочистку и начала демонстративно ковырять ею в зубах. Причмокивая.

– Хорошие фотографии, Юрий Григорьевич, спасибо. Жалко Сонечку, правы вы.

Юрий Григорьевич пожал плечами, да и Паша умолк на полуслове – они не ожидали такой реплики.

– Сама и талант свой, и себя погубила, – продолжала Майя. – Вам вот когда-нибудь приходилось иметь дело с большими талантами?

– Им никогда в России места не было, – серьезно проговорил ЮГ, выдергивая изо рта хвост креветки. – Раскидывались мы ими, не давали условий, не ценили, травили.

– Да жили они как у Христа за пазухой, я вас умоляю! – не удержалась Майя. – И премии, и льготы, сколько имен было – Бондарчук, Фрейндлих... Они что, были серостаями?

– А скольких задавили? – не унимался ЮГ. – Параджанов, Нуреев...

– Пидоров? Перестаньте! Все устроились, и вообще, все эти гонения сильно раздуты – и преднамеренно раздуты. При большом терроре порасстреливали три миллиона, а говорят – двадцать. А сколько из этих трех за дело к стенке поставили?

– Да что вы такое говорите! – сказал ЮГ глухим голосом и сделался пунцовым.

– Да меньше, меньше, я в газете читала, «Мемориал» списки сделал, а вы всё кричите: власть умучивает. А она не только не умучивает, а цацкается со всеми, как с малыми детьми.

– Может, вы еще и Сталина любите? – уже почти с хрипом спросил ЮГ.

– При Сталине выиграла войну, – строго сказала Майя, – построили промышленность, создали науку. Я знаю, я всю жизнь в научной структуре проработала. И да, да, Сталин сделал куда больше Хрущева или Брежнева – если вам нужно мое мнение.

– Не повтори Господь ужасных этих дней, – кого-то процитировал ЮГ. – Бог с вами, Майя.

Паша взял из тарелки остатки хлеба и пошел кормить чаек. Вставая, он успел заметить, что Майя грозно отодвинула от себя недопитый стакан сидра и попросила счет. Поэтому Паша и ушел – пускай разбираются сами, больно ему нужно выслушивать стариковские свары. Сел, как все, на край пирса и принялся кидать хлебные катышки и рыбкам внизу, и чайкам, уже сытым, набившим поутру брюхо рыбьей требухой. Но они все равно хватили катышки на лету

и заглатывали их со свистом, Паше этот свист особенно нравился: сила была в нем природная, прущая через край.

Он обернулся только на металлический скрежет стула, увидел Юрия Григорьевича, падающего на землю с пунцовым лицом. Майя, всплеснув руками, кинулась к нему, официант побежал вызывать «скорую». Уже через десять минут ЮГ лежал на каталке с воткнутой в вену капельницей; врачи говорили что-то непонятное, Паша кричал «Мира-конча диес, Мираконча диес», – доктор сказал, перевел он, что инфаркта нет, просто резко скакнуло давление, и они решили везти его домой и приставить медсестру.

– Чего зря в больницу тащить, – сказал Паша, когда «скорая» медленно тронулась с места, – у него уже два инфаркта было, належался, а сейчас если нет, так нечего в казенный дом переться. Да и боится он больниц.

Майя выразила готовность поухаживать за добрым знакомым, и они порешили, ко всеобщей радости, что будут по очереди навещать старика.

– Посмотрите, как он живет, – сказал на прощание Паша и присвистнул: – Ради одного этого стоило...

Что стоило, он не договорил.

– Простите меня, – сказал Юрий Григорьевич, стискивая ледяными пальцами руку Майи, – я сам во всем виноват, полез зачем-то в дебри, никому уже давно не нужные и не интересные.

– Выздоровливайте скорее, – сказала Майя мягко. – Сегодня с вами Паша побудет, с утра пришло Зухру, а после обеда приду сама, обещаю. Приготовлю вам куриный супчик, и вы сразу пойдете на поправку.

ЮГ с благодарностью кивнул и уехал, а Майя вернулась за стол, ей нужно было прийти в себя. Заказала даже крем-карамель, чтобы заесть стресс. Ела жадно, капая на скатерть. Да пускай глазают, наплевать, наплевать.

Дом с двумя шпилями, почти дворец, прямо над главной набережной на холме, с ведущими в квартиры лифтами. Терраса с видом на море, увитая плющом и клематисами. Квартира огромная, с журнальным шиком, мебелью и коврами, зеркалами, подсвечниками, камином, картинами. Зухра открыла ей дверь и впустила, приложив палец к губам: спит. И добавила: это один из самых роскошных домов здесь, и жильцы прямо короли.

В коридоре полно книжных шкафов с фотографиями за стеклами: жена, ЮГ с женой, несколько семейных, где полный сбор, человек восемь, с лабрадором, без лабрадора, на пикнике, на пляже, за столом в ресторане со сдвинутыми бокалами. Зухра провела в желтую гостиную с камином и диванами, и Майя сразу принялась рассматривать гобелены: какая работа, музей просто! Потом пошли в кабинет – как положено, с сигарным шкафом и низкими тяжелыми кожаными креслами.

– Посидите тут, почитайте, а вот там спальня, можете прилечь, если устанете. Он в своей спальне, вот дверь.

Майя кивнула. Как только Зухра ушла, Майя отправилась в спальню на осмотр: стерильно, женщин тут никогда не было. То же показали и две ванны, одна нетронутая, другая с мужскими прибаб-басами – бритвами, лосьонами. Все точно: богат и одинок. Не наврал. Выходя из ванной и проходя через спальню, остановилась у фотографий на стене: молодой ЮГ с женой – красивая, и чего он за мной приволочился? Совсем осатанел от одиночества, что ли?

– Если бы вы знали, как я ждал вас, – сказал он, и Майе сделалось смешно. «Прямо как в кино, – подумала она, – но большого обижать грех».

– Сейчас мы кушать будем, – ласково ответила она, – вам силы нужны, я принесла вам суп.

Он покорно глотал бульон из тяжелой серебряной ложки, которую она подносила ему ко рту, прилежно каждый раз дуя на содержимое. Он хотел было сказать ей, как рад всему, что происходит, но вдруг ослаб, прикрыл глаза и как будто задремал. «Сегодня давайте волноваться не будем», – тихо сказала она. Почитала ему новости из Интернета, дала лекарство, и он опять уснул. Перед сном напоила его молоком с медом, приговаривая, что именно мед с молоком дает здоровый сон, осторожно проводила в туалет. Когда, свернувшись клубочком, он счастливо засопел, держа ее руку в своей, она ускользнула домой – с утра была вахта Павлика.

Дорога назад далась ей тяжело – океан ревел, сильнейший ветер с солеными каплями плоской ладонью давил ей на лицо, у нее стучало в висках и было трудно дышать, ну конечно давление, а чего еще она хотела при таких нагрузках, но, когда вошла в подъезд, распрямила спину и пошла, собрав себя в кулак, легко: пускай портье видит, что она не та, за кого он ее сначала принял. «Ты мне еще набегаешься, чучело, за булочками к завтраку», – мелькнуло у нее в голове, и она улыбнулась, как в фильме, совсем позабыв о своем немного кривом рте. Портье все прочел на ее лице и кивнул с небывалой почтительностью, вскочил с места и открыл перед ней дверь, ведущую в лифтовый холл. «Так-то», – сказала ему Майя по-русски вместо «спокойной ночи». «Буэнос ночес», – с готовностью отрапортовал портье и учтиво дождался в легком поклоне, пока захлопнутся двери лифта.

Войдя домой, напилась таблеток, они лежали горой на ночном столике, но, несмотря на плохое самочувствие, внутри у нее было так тихо и хорошо, что она нацепила очки и принялась разбирать и сортировать лекарства – ей теперь ужасно хотелось во всем порядке. Океан продолжал реветь, ветер лупил мокрой мордой в окно, гремели ставни, с улицы то и дело доносился шум, то опрокидывался помойный бак, то падало ограждение, но никаких голов, естественно, не было: когда бушевал океан, все сидели по домам. Она вспомнила вдруг, как однажды поздним вечером вот так же рылась в ящике с лекарствами Сониной бабушки Клавы, – их отправили обеих на лето к ней в деревню, Соньке было года четыре, не больше. К Клаве пришли соседки чаи гонять с сушками, расселись картинно в избе, потом присоединились и мужья – те, что были в наличии, у многих уж поумирали, – заскорузлое старичье, беззубое и помятое, со скосбоченными ногтями на одутловатых пальцах. Все они выпивали, бабы потом горланили песни, разгулялись, а Соньке вдруг приспичило какать. Ну, в ведро: прикрою, утром вынесу. Уселась на край – и никак, мучилась, заплакала даже, слопала, наверное, чего-то, но Майя терпеливо стояла рядом и сторожила ее, чтобы никто не вошел, не увидел, с пьяных глаз не захихикал. «Всегда выручала, всегда, – в очередной раз протянула внутри Майя, – а вот спасти так и не сумела. Эх, жизнь!»

Разбор лекарств она так и не докончила, пошла на кухню и, несмотря на подскочившее давление, выкурила и одну сигарету, и другую. Пусто стало без Сони. Огромная дыра в сердце. Некого бранить, некого любить. Как же так?

Она уснула не раздеваясь, под пледом на диване, мысли ее перекинулись на ЮГ. Она от души жалела и его и твердо решила, что на этот раз дурить не станет, раз послано ей – примет. Была Соня, стал ЮГ, надо так, значит.

С утра поднялась пораньше, как в те дни, когда выхаживала больного отца, отправилась на рынок, накупила трав, кореньев, мяса разного. Расстареется. Пусть набирается сил. Спускаюсь на лифте и глядя сразу на несколько своих отражений в стеклянных его стенах – вид сбоку, вид сзади, – она вдруг вспомнила, как читала про умирающих: они отрываются от своего тела и парят над ним, глядят на мир со стороны, именно поэтому при теплом еще покойнике не надо болтать лишнего, здесь он еще долго. Майя почему-то представила себя на операционном столе в сознании, доктора вокруг суетятся, а она машет им рукой и говорит: «Не надо, товарищи, ничего не надо, устала, отпустите». Господи, да что же это за видения?

Вышла из лифта погрузневшая. Черт-те что лезет в голову. Зачем ей это? Курит она здесь меньше, ходит пешком, ест диетическую хорошую пищу, она здесь отдыхает и проживет еще долго, особенно если будет о ком заботиться.

С угаснувшим настроением она пошла по улице от океана, успевшего набушеваться за ночь и заснуть. В забытии он по-детски шевелил волной и что-то тихо бормотал сквозь сон, как ребенок. Дошла до церкви, чтобы там свернуть за угол и выйти к рынку, но услышала утреннюю службу и завернула внутрь – сам Бог, что называется, послал. В церкви было всего несколько человек, музыка лилась из динамиков, одинокий падре с кафедры бормотал что-то на непонятном языке в пустой зал, и Майя расстроилась еще больше – не то чтобы она была верующая, но любила иногда зайти и свечечку поставить. А нет тут свечечки...

Покупка еды всегда действовала на Майю благотворно. Она покупала неспешно, с садистским наслаждением кладя выбранный товар в корзиночку и возвращая его назад раз по двадцать. Она испытующе смотрела на торговца: знаю я вас всех – ворье, гнилые душонки, так и норовите подсунуть лежалое, но слов не говорила, не знала слов, и оттого ограничивалась лишь напускным недовольством товаром – вдруг продавец расколется от напряжения и достанет из-под полы что-то посвежее. Выбирая помидоры, она вспоминала московское ворье: подойдет на остановке плюгавенький, начнет дорогу выпрашивать, так ты ему только ответь – вмиг подельник его кошелек из сумки вырежет. Нищие по углам переходов с усыпленными собаками побираются, одна бурая баба с узлами вместо пальцев, клянчившая с беспородным кобелем на веревке, так разозлилась на Майино «мразь уличная», что даже харкнула от ярости ей в лицо. Но хуже всего – соседка по этажу, кошатница и диабетчица: подсматривала за ней, записывала приходы и уходы, хотела, видно, грабануть, а так – заходите на чай, я пирог испеку... А сама как зайдет, так жрет в три горла, крошки летят, рожа вся в обжевках, чавкает, кашляет, плюется... От людей главная усталость и есть, главная мука. Алена вон и из квартиры ее выживала, и дверь ломала, и деньги у нее крала, уж сколько Майя заявляла на нее, а менты знай твердили: «Семейное дело, разберетесь, неча голову нам морочить».

Опять отогнала дурные мысли – да что ж такое сегодня? Небо прояснилось, океан дрых без задних ног, птички чирикали, в витринах горы еды, буйство и праздник чрева нескончаемый: и соленая треска, и сыры, и огромные сизые октопусы враслопырку, – и народ вокруг снует, несмотря на утренний час, и ест, и закупает. Хватит уже хандрить.

Дом нашла быстро. Позвонила в дверь. Сменила Зухру, которая забежала к восьми покормить завтраком. «Он сегодня получше, криз миновал, очень ждет вас, Майя!» Улыбнулась ему, он протянул к ней руку, она пожалала. Лицо еще сероватое, отечное, и щетина не брита, но глаз повеселел, и пижама свежая, бордовая, хороший оттенок дает. «Подожди немного», – уже привычно сказала ему на «ты», и ЮГ разулыбался во весь рот, а Майя деловито, как жена, пошла на кухню готовить ему настоящую еду, без всех этих ресторанных глупостей и очковтирательства, чтобы ложка стояла.

Она кормила его супом из петуха и говядины, поднесла отдельно в розеточке вареный петуший гребешок – так любили подавать бульон в ее родном Киеве. Он послушно ел, хвалил, причмокивал, говорил, как на самом деле скучает по дому – по тому, по своему, по родному. Говорил, как давно не встречал родной души, «мы так близки, что слов не надо». Вот на старости лет лучик у него забрезжил, и как же хочется вот так рука об руку.

Рассказывал с горечью о жене. О том, как страшно умирала и как нужно ценить каждую секундочку жизни, когда еще не умираешь совсем. Говорил, что он еще вполне нормальный мужчина, а не старик, что все в нем еще живое. Майя кивала. «Я скоро поправлюсь, – все приговаривал ЮГ, – это криз, он пройдет, через недельку уже заковыляем с тобой по набережной. Пойдем в кафе на Ла-Кончу, будем там винцо пить. Или пойдем в аквариум и будем вместе с мальчишками глядеть на мирных рыб и акул». Эта идея совсем не понравилась Майе, но зачем

спорить с больным человеком? «Конечно, пойдем», – отвечала она. «Конечно, пойдем», – вторил он ей.

Когда Майя уходила, а это было уже под вечер и ее должен был сменить на ночь Паша, она по-хозяйски убралась на кухне, изучила содержимое всех шкафов, наметила список хозяйственных покупок: кастрюли, другие ножи, другие скатерти. Зашла в каждую из комнат, посидела там на диванах и в креслах, вышла на террасу проверить, политы ли цветы. Оказалось, что нет, о чем она с досадой и с некоторым даже хозяйским упреком сообщила ЮГ. Пошла полила сама, зашторила окна и привычным как будто жестом даже чмокнула его перед уходом: «Давай, Юрий Григорьевич, поправляйся! Нечего болеть, другие дела еще есть». Он остался засыпать совершенно счастливый. Она вполне резво вышла на улицу и отправилась восвояси. Все здесь выглядело для нее теперь иначе, прирученным, обжитым, узаконенно прихваченным. У нее здесь есть жизнь, а значит, это и ее город.

Долго, глубоко думал он о ней, не мог надуматься вдоволь, нежно перебирал мысли, как струны арфы. Заживет на старости лет по-человечески, будут они оладушки есть, поедут путешествовать, а то машину купил, а почти не ездит. Теплая, светлая, родная женщина, намыкался он один, довольно. Не делал никому зла, вот и награда. Ну, был у него вражина на родине, завистник Привалов, все ходил за ним по пятам с места на место, все прижучивал, накапал на него перед тем, как гадко и унизительно вышвырнули его на пенсию, все завидовал ему, что сыновья у него разбогатели, что жизнь у него медовая. Втихаря собирал доказательства, что он «кривые» контракты заключает, связи какие-то устанавливал, схемы начальству предъявлял... Начальство забеспокоилось, дергать начало, дополнительные отчеты испрашивать... Всю жизнь, двадцать лет работали вместе, с оборонки еще нога в ногу пошли, а зависти Привалов не потянул. Подсидел. Вызвали Вдовкина на ковер и предложили: или на пенсию иди по хорошему, с возвратом, конечно, средств, или, сам понимаешь, прокуратура будет. Это была напраслина. Но ушел, первый инфаркт схлопотал, потом Нюра умерла, пустой дом, дети давно уже на выезде. Горе. Кто-то, конечно, утешал, что Привалов подсидел, чтобы самому плюхнуться в креслице и начать таскать, кто-то, наоборот, за Приваловым пошел: новый начальник, хоть и крошечный, лучше обиженного пенсионера. Времена стали другие, друзья, кто разделял его взгляды, тоже поразъехались да поумирили... Пустота. Пса взял, да один не справился, дети увезли – опять один. Ну и уехал. С книжками своими, с кассетными записями. Перевезли все его «игрушки»: давай, пап, живи в свое удовольствие, ни в чем себя не ограничивая. А тоска смертная. И тут никого не нашел: с обслугой сблизиться не умел, да и не хотел, а никого другого не встретил.

Он думал о ней и вперемешку вспоминал детство; давно не вспоминал, а вот надо же – полезли картинки в голову. Как они с мальчишками проводили на себе эксперименты на ржавой детской площадке в Кунцеве, где он вырос. Кто-то сказал, что если пережать сонную артерию, то начинаешь балдеть, – вычитал, видно, в домашних, дедовых еще хирургических книгах, проехавших по фронтам и загвазданных бурыми пятнами. Стали пробовать пережигать, разглядывали в воздухе небывалой красоты узоры, жали почти до обморока, состязались, кто дольше выдержит. Он был последний, не умел выдерживать, худой был слишком, что ли. Потом еще рвали бесчувственные от холода губы о промерзшее железо: надо было облизать и приложить к заиндевевшим перилам или стойке качелей (он хорошо помнил вкус студеной крови: на ватных губах как будто соленый крем), – а после плевались кровью на снег. И жутко было, и как-то лихо, и опять же состязались: у кого жирнее плевков – тот и мужик. Тут он выступал убедительней. Крови из него всегда лилось много, жидкая была, может, оттого и выжил в инфарктах. Потом эта дворовая компания рассыпалась, всех куда-то переселили, и их семью тоже, в Черемушки, уже когда кончал школу, в свежие панелечки среди голых дворов. Помнит залитые светом недоразобранные стройплощадки, новенькие прилавочки в мага-

знах, скамейки свежеевыкрашенные, зеленые, помнит, как прыгали к остановке по дощечкам да битым кирпичам, потому что везде грязь была по весне и осенью. Потом поступил в Губкинский, там познакомился с Нюрой, жаркой полноватой девушкой с цыганской темной красотой, однокурсницей, женился на ней, устроился в КБ, вступил в партию, Нюра родила ему одного, а потом еще одного. Мальчишкам своим он очень помог в новые времена связями кое-какими – были они у него, но без того, о чем писал в доносах Привалов; хорошо их воспитал, в детстве спуска не давал, вот и вышли они в люди. Потом уволился, взял участок поскромнее, проектировал пищевые линии – побочное производство от основного профиля КБ, откуда его и ушли без всякого к тому правдивого повода. Но сыновья уже разбогатели, уже паковались кто куда. Вот и выскочил он на этот берег, вот и застыл тут, как ледяная кочка, – вроде живым был, а замер.

Так, значит, Майя, прекрасная Майя, все то время жила рядом, где-то в десятке остановок, а он ни разу не видел ее – любил, отчаянно любил жену, переживал за Лешу и Андрея, двигался по службе, особенно преуспел в новые времена, когда все стали открывать кафешки и рестораны. И тут бац!.. Видать, не пережил он до конца этого унижения, раз сколько мысли ни крутились, а всё возвращались в исходную точку. «Немного солнца в холодной воде» – вот что такое Майя. Он всегда любил этот роман Франсуазы Саган, но никому не признавался – женское чтиво. Но он и вправду всегда был сентиментален, и эта его сентиментальность особенно безжалостно обошлась с ним здесь, у этого злющего, как он считал, океана, потому что нечем ему было свою чувствительность подкармливать, не было ничего, что двигало бы в нем хоть какие-то чувства.

«Теплая, теплая, своя, домашняя, – думал он, уносимый в сон маленькой голубой таблеткой, – мы будем ездить в горы на пикник, мы отправимся в Лондон и Париж... Что она видела? Зухра говорила, что прожила тихую, неприметную жизнь простой служащей, получала гроши. Соня-то, конечно, помогала, но Майя, кажется, и не брала особо; а куда девать деньги, если живешь один? Вот и он почти не тратит, сыновья даже ругают его...»

Майя навещала его ежедневно, хлопотала, была в легком самоотверженно-светлом порыве, и ЮГ расцветал, набирался сил, оживал. Она навела порядок в шкафах, перетерла бокалы – Зухра-то, эта вертихвостка, разве может нормально убрать? Кое-что перестирала, перегладила. Он начал ходить по квартире, рассказывать, показывать, ставить свои кассеты, зачитывать любимые пассажи из книг. Майя слушала, ей нравилось. Не скучно с ним – вот что главное. Плавно как-то движется. Ее всегдашняя готовность к самопожертвованию и самоотдаче вытравила из нее на время все лишнее, весь нрав. Она возвращалась домой поздно, шла в тени стены, как монашенка, едва успевая прихватить молока, сыра и помидоров по дороге, спала на диване, под пледом, вставала на заре, бежала на рынок за рыбой и кореньями. Она служила ему по образцу лучших советских медсестер: с неумолимой настойчивостью, но и с сочувствием к больному. Лекарства по часам, еда по часам, проветривание комнаты по часам, чтение газеты строго в определенное время на террасе, под закат, вечером – фильм с Гретой Гарбо или Лайзой Миннелли из его аккуратно расставленной по алфавиту коллекции на полке – и никакой политики, никаких треволнений. Ему разрешили выходить, и он сообщил ей прямо с порога, что они пойдут, пойдут через старый город на набережную, и пусть она позволит ему отблагодарить себя. Он знает, знает, что она ни в чем не нуждается, но он так рад, так счастлив, он хочет купить ей замшевый жакет, он давно уже это задумал, он знает магазин.

Ей сделалось приятно.

– Как в «Красотке», что ли? Я буду безмозглой девицей легкого поведения?

Оба рассмеялись и в первый раз обнялись. У него было сухое, жесткое объятие, но ароматное – он только что выбрился и надел белую сорочку, от которой пахло свежеевыглаженным. Она тоже его обняла, тихонечко, и он почувствовал сладковатый запах ее пота – ничего удивительного.

тельно, она спешила, почти бежала, не обращая внимания на тяжесть в ногах и kloкочущее в ушах сердце; он вдохнул поглубже и погрузился в волну жаркого умиротворяющего покоя: да, да, именно так должен пахнуть дом.

И вот они тихонечко пошли, спустились с холма пешком и шли долго, держась за руки, щурились от яркого утреннего солнца. Ей захотелось кофе с пирожным, и он повел ее в самую лучшую кондитерскую, напротив казино, где пекут восхитительный, как в детстве, наполеон с желтым заварным кремом и тонкими, как шелк, коржами. Они говорили друг другу что-то совершенно незначительное, она хвасталась, что умеет печь не хуже, что цедру обязательно кладет в крем, ему это нравилось – и цедра, и грядущие ароматы выпечки; он порозовел, попросил еще чашку чая и к нему ромчика пятьдесят грамм; она пожурила его, но скорее для вида, он искривил виновато рот, потом смешно надул губы, и она по-детски передразнила его; потом они пошли к тамарискам на набережной, что цвели нежно-розовым, разметав во все стороны свои патлы, к белым скамейкам, к фонтану, к белым торжественным часам, прошли мимо Кармен, с алой розой в зубах танцующей фламенко для отдыхающих, люди со скамеек хлопали ей, выкрикивали «Оле! Оле!», – Майя сжала локоть Юрия Григорьевича, он словно прикрыл ее рукой от толпы, прижал к себе.

В магазине, почти забывшись, не обращая внимания на верных двести десять, она примеряла одну вещь за другой, крутилась перед зеркалом, а он покупал и покупал... Она словно наверстывала свою молодость, а он глядел на нее влюбленно, чувствуя себя мужчиной, и наслаждался – ничего, ничего нет приятнее этого ощущения.

По дороге назад они присаживались на лавочки, ворковали, он взял с нее обещание, что сегодня же она наденет все новое и забросит свои московские наряды. Она хотела было рассердиться – тоже мне наглость, – но не смогла, пообещала. А почему бы и нет? Разве она за всю свою жизнь не заслужила этого?

Уже у самого дома он стал говорить, что позовет сыновей познакомиться с ней. Это очень-очень нужно сделать, они ведь все, что у него есть. «Да пжалста! – воскликнула она своим прежним, а не новым тоном. – Делов-то!» Он не заметил перемены и принялся неспешно, с особенной отцовской гордостью говорить о старшем, об Андрее: как тот рос, каким был отличником, как маленьким влюбился в гребенчатого тритона и даже спал с ним. Как получил уже в восьмом классе разряд по шахматам, как вопреки всем его, отца, возможностям пошел в армию, потому что хотел все попробовать и познать самостоятельно, как поступил в университет, как ставил преподавателей на место.

От этого самозабвенного гимна Майе все более и более становилось не по себе. Юг пел соловьем, совершенно забыв, что у нее нет детей и она не сможет ответить рассказом на рассказ. Он говорил, глядя куда-то вдаль, он вспоминал новогодние праздники, подарки, любимые детские словечки и песенки... Слезы навернулись у Майи на глаза: на кой черт я нужна ему, вон он как распелся... так и жил бы с ними, нянчил бы внуков!

– А чего же с ними не живешь? – зло спросила она.

– Да кому я нужен, не хочу обременять...

– Ну все, хватит! – Майя резко поставила пакеты с одеждой на землю. – Почему я должна часами это слушать? Никому не нужен, а мне навязываешься!

Юрий Григорьевич оторопел.

– Да что ты, Майечка, я же с тобой как с родной делюсь. Это теперь и твои дети будут, и твои внуки. Ну что ты!

– Не знаю, не уверена, – отрезала она.

– Я старый дурак, прости меня! – кричал он ей вслед.

Майя вернулась домой вся в слезах. Выкурила за вечер пачку, напилась таблеток и легла спать. «Все это глупости, – твердила себе, – чужая жизнь, никому я не нужна, и мне никто не нужен. Помутнение разума, как я могла так?»

Наутро она все рассказала подруге. Позвонила с испанского номера и говорила час. С подругами у Майи было негусто. С сослуживицами она дружила «как положено», приносила тортик на день рождения в отдел, вместе с кем-то из товарок шагала до метро, обсуждая покупки, рецепты, котлов-собачек. Майя страстно любила котов, долгое время жил у нее настоящий котофейный тиран Базик, конечно, не кастрированный, которому она служила с истовой преданностью. После его смерти у Майи случился микроинфаркт, и она сразу вышла на пенсию, сохранив лишь отношения вежливости с бывшими коллегами. Мужчин в их отделе не было, вот так и вышло, что она просидела почти сорок лет в бабьем царстве и совершенно потеряла навык общения с противоположным полом. Перечень же ее подруг – это перечень стертых телефонных номеров и наглухо запертых дверей. Так получалось всякий раз, когда начинались разговоры о жизни, мужчинах, детях, рыдание в жилетку, – и всякий раз она чувствовала, что на самом деле для подруги она просто пара больших ушей, а сама она, добрая, внимательная Майя, с извечной своей готовностью броситься на помощь, – ничто, ноль без палочки. «Как унитаза используют, – в таких случаях говорила себе она, – нет уж, я тут не сточной канавой работаю». Еще ей всегда мерещилось, что точно так же плохо подруги говорят и о ней, жалуются на нее, и она переставала отвечать на звонки, звать и приходить в гости, навсегда закрывая дверь в отношения.

Уйти рано на пенсию она могла позволить себе из-за Сони. Та высылала ей немного денег, и их с лихвой хватало на жизнь. Деньги эти были и унижительны для Майи, и приятны одновременно. «Что я для нее? – спрашивала себя Майя. – Простушка. Ей и поговорить со мной не о чем». В последние свои приезды в Москву Соня даже не останавливалась у нее, как раньше. «Твой кот все загадит, – говорила она, – а я должна выглядеть прилично, у меня масса встреч». Нуда, прятала свои шелка, свои кашемиры от Базика, и где она теперь со своими кашемирами?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.